

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## **Отрезанный ломоть**

**Мамин-Сибиряк Дмитрий  
Наркисович  
Отрезанный ломоть**

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Отрезанный ломоть

Из далекого прошлого

Воспоминания

Содержание

Проводы

Дорога

Дедушка Семен Степаныч

Новичок

Казнь Фортунки

Конец первой трети

Болезнь

Примечания

ПРОВОДЫ

I

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, те "дни посещения", когда происходят многознаменующие душевные перевероты. Для меня именно таким явился сеньский августовский денек, когда я проснулся на чувской пристани Межевая Утка\*.

---

\* Межевая Утка - река, приток р.Чусовой; свое название она получила оттого, что когда-то служила межой между владениями

Строгановых и Демидовых. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

В большой и светлой гостиной, выходящей окнами на Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собрались все действующие лица: мой отец, мой старший брат Николай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей, мальчик и девочка, которые с детским любопытством следили за совершившимся событием. Все отъезжавшие были одеты по-дорожному и торопливо допивали чай. Федор Петрович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то приказания. Это был высокий, русоволосый господин с румяным лицом и с слегка вившимися темно-русыми волосами.

- Чемоданы уложены? - слышалось из передней. - Хорошо... Не забудьте черпаки для воды. Как шитик?\*

---

\* Шитик - средней величины лодка, по образному народному выражению, "сшитая" из досок. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

У моего отца было тревожное выражение,

и он все посматривал в окно.

- Как бы не зарядило ненастье... - повторял он несколько раз.

- Нет, погода разгуляется, - успокаивал Федор Петрович. - До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как солнышко выглянет. Я уж знаю...

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замечательно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался, когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие лица - брат и Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели немного смущенный вид, как артисты, которые за кулисами готовятся к своему первому выходу на сцену. Брат Николай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Николай Тимофеич белокурый, широкий в кости крепыш с такими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для поступления в духовную семинарию, - они только что кончили духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо,

стеснялся незнакомой обстановки.

- Все готово, - заявил Федор Петрович, выглядывая в окно.

- Ну, господа, пора... - торопил отец.

По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все присели на минутку, помолились и начали прощаться. Помню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и сказал:

- Кланяйся маме... Тебе на днях тоже нужно будет ехать. Будь умным...

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, справа ее подпирала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень. Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что даль-

ше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт рогожкой.

- Ничего, погодка разгуляется, - повторял Федор Петрович, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпался мелкий, как пыль, осенний дождь "сеножной".

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:

- Дальние проводы - лишние слезы... Прощайте!

Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово "отец" связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Только дети чувствуют в пол-

ной мере эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на скамеечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата было недовольное лицо, - он не отличался особенной энергией, а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст. Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо отвалил от берега, а потом его подхватила сильная речная струя и понесла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и долго махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разглядеть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который с левого берега подвинулся к самому Красному Камню, - еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за поворотом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое ощущение, которое меня охватило, - это ощущение одиночества. Мне хотелось побежать по берегу,

догнать лодку и крикнуть: "Папа, возьми меня с собой..." Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным.

- Ну, малыш, пойдём... - вывел меня из тяжёлого раздумья Федор Петрович. - Нужно закусить, а там поедешь в Висимо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь...

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и повиновался механически, как манекен. Раньше я относился к этим проходам как-то легкомысленно и только сейчас понял всю важность случившегося. Слезы так и подступили к горлу, но я сдерживался, потому что - "плачут только девчонки". А одиночество точно все больше и больше накоплялось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, который говорил что-то такое в мое утешение.

Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив детского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе осталась забытая им в дорож-

ной суете люстриновая коричневая ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на окне завернутые в бумагу "подорожники", которые мать приготовила специально для него, и т.п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на горную красавицу Чусовую, которая унесла дорогих сердцу людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой подарок.

## II

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ничего особенного не представляла. Пара крепких "киргизок" быстро несла легкую долгушку; разбитной заводский кучер весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули незаметно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это было возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть. Мне

казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, погода действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие уральские горные заводы: заводский пруд, под ним - фабрика, на горке - белая каменная церковь, по гористым берегам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские домики. Лес был близко, и стройка везде была хорошая. За фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду низенький господский дом, где жил старичок управитель Степан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную поговорку: "Я говорю: да, любезнейший!" Когда он сердился, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Недалеко от господского дома - заводские конюшни, где стояли две знаменитые лошади, - одну звали "Не хочу", а другую - "Не пойду". Все эти мысли проходили у меня в голове, пока долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы остановиться у деревянного до-

мика в три окна, где жил наш знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина, черноволосый, румяный, высокого роста.

- Придется малость обождать, - заявил он после расспросов об отъезде отца. - Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя захватит...

Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст, и дорога шла уже горами.

- Я пешком пойду, Никон Терентьич...

- Что же, можно и пешком, - согласился Никон Терентьич довольно равнодушно. - Дождя нет...

Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня зародилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше значения, чем та осенняя муха, которая во время нашего разговора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрощавшись, я направился пешком домой. Все эти девять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж не увижу до

самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, поворот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая улица, где жили "кержаки", как называют на Урале раскольников, а там, сейчас за жилком (селеньем), начинались лес и горы. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой яркой, по сторонам дороги стояли кусты шиповника с ярко-красными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой дороге мы столько раз ездили с отцом.

- Милый, бедный папа... - шептал я, прижимая к груди узелок с его рясой, от которой "пахло церковью", то есть ладаном и воском.

Мне почему-то было страшно жаль отца. Наверно, он теперь тоже думает обо мне... Ведь он такой добрый и хороший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое раннее детство, начиная с того

времени, когда отец по вечерам носил меня по комнате на руках и что-нибудь рассказывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и везде отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а в детских болезнях - в особенности. Каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню, что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это была та сила, за которую хватались слабевшие детские руки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я видел много других отцов, которые совершенно терялись в таких случаях и которых успокаивали и утешали больные дети. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой,

чем отец, - на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была "рада месту", то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом. Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от крупа. Кстати, часто бывает, что все преисполнены щемящего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможными больными, когда приглашали его напутствовать умирающих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных; прибавьте к этому, что о мерах предохранения от заразы в то время имелись самые смутные представления, - и все-таки в нашем доме всего был единственный заразный случай с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух

старших сыновей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до наступления нашего школьного возраста. Помню по этому случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого и не желал.

- Пустякам там учат, - спорил он. - Пусть лучше поступят в духовное училище... Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу, и не мог вспоминать о своем ученье без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово было сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, которую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет совершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему отец, - он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, ко-

гда наступило время нашего учения, Крупенина уже не было в Екатеринбурге, - не помню хорошенько, перевели его на другое место или он умер. Отчаянию отца не было границ. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за учение, составлявшая, по-нынешнему, ничтожную сумму в пятнадцать рублей.

- Где же я возьму тридцать рублей за двоих? - повторял он. - Крупенин обещал освободить от платы... А тут еще форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег, негде их взять... Жалованья получаю двенадцать рублей, доходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим были малы доходы. Деревенские приходы, конечно, были лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с "ручкой", собирая "петровское", "осеннее" и "ругу". Он предпочел свою бедную заводскую независимость.

### III

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию

была разрушена, отец начал готовить нас троих, меня с братом и Николая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати, Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич и брат были старше меня на два года. Почему-то отец готовил всех нас в один класс, именно в "высшее отделение" тогдашнего дореформенного уездного духовного училища, делившегося на три отделения - низшее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето, причем мне это не стоило особенного труда благодаря чудной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово, а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил, а только читал, прочтешь один раз, и дело готово. Через три года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержали экзамен, а я

струсил, оказался слабее и был принят условно. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсацкого учения на меня подействовала совершенно ошеломляющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно. Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся и, вероятно, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Тимофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некоторых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

- Ты еще не спишь?

- Нет, папа.

- Тебе нездоровится?

- Нет, я здоров... Так...

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата и

Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше "высшее отделение", отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз - сейчас. Он обнимал меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это возвращение под родную кровлю было омрачено при первом же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий священник о.Николай сказал мне:

- Что, брат? Убоялся бездны премудрости и возвратишься вспять... Все равно, брат, ты - отрезанный ломоть, как тебя ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года "без определенных занятий". Старшего брата не было, и мне приходилось коротать время в одиночестве, причем единственным удовольствием были книги. В на-

шем доме книга играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением.

- Это мой отдых, - объяснял он.

Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вместе с книжками появились и новые люди, причастные заводской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как человек, который вечно был занят и отдыхал только за книгой или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник отец, конечно, знал свой приход как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры

о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные... Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить:

- Ты - сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное - прихоти.

Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей. Одним словом - "прихоти" - сказано все... Ведь это громадное богатство - не завидовать и не желать того, что является излишеством и бессмысленной роскошью. А сколько людей томится вечной неутолимой жаждой именно такой роскоши, для которой приносится все в жертву...

Моя детская жизнь, конечно, не обходилась без некоторых правонарушений и неиз-

бежных детских шалостей. Одной из самых сильных мер в видах моего исправления был рассказ о двух дьячках, который отец повторял с самой трогательной убедительностью. В качестве подсудимого я должен был выслушивать его до конца. Заключалась эта история в том, что один дьячок был скромн, послушен, трудолюбив, добр и честен, а другой обладал совершенно обратными качествами, в результате чего получились соответствующие плоды: мудрый дьячок прожил всю жизнь счастливо, и все его любили, а дьячок злой и ленивый погиб под тяжестью собственных недостатков. Изображение этого последнего дьячка выходило, конечно, рельефнее, как всякий отрицательный тип, особенно когда отец начинал рассказывать о его пьянстве и соединенных с этим занятием последствиях. Сам отец во всю свою жизнь не выпил ни капли вина. Говоря откровенно, мне оба дьячка были противны, потому что выступали на сцену в самые неприятные минуты моей жизни, как живые свидетели моих детских прегрешений, и, кроме того, я чувствовал, что они вели в моей душе неустан-

ную борьбу, с переменным счастьем, как своего рода Ормузд и Ариман.

Да, я шел по дороге и старался вызвать все те картины своей жизни, где выступал отец. Я старался припомнить выражение его лица в разных случаях этой жизни, тон его голоса, взгляд добрых и строгих серых глаз, добродушную улыбку, которая постоянно освещала его лицо. Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и чем дальше я думал, тем выше и выше вырастал в моих глазах этот благословивший мое детство образ. А солнце так хорошо светило; кругом выше и выше теснились родные зеленые горы; вот и последняя Лисья гора, с вершины которой открывался далекий вид на родной Висим. Я присел на камень, чтобы отдохнуть, и почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Эта первая душевная детская гроза разрешилась горячими слезами.

- Милый, дорогой папа...

Да, я уже сделался отрезанным ломтем...

Не могу не привести здесь чудное стихотворение из В.Гюго, в переводе Плещеева:

Еще совсем малюткой, в колыбели.

Однажды близ меня заснула ты...  
А я стоял в раздумье... Окружала  
Нас сумерек таинственная мгла.  
Придет пора, голубка дорогая,  
Я в свой черед засну глубоким сном,  
И ночь меня окутает немая.  
Мрачней тюрьмы мой тесный будет гроб,  
И птички я по буду слышать трели...  
Тогда молитвы, слезы и цветы,  
Все, что дарил твоей я колыбели,  
Все возвратишь моей могиле ты!  
У меня на далеком родном Урале осталась  
именно такая дорогая могила...

## ДОРОГА

I

После отъезда отца наш дом опустел и точно замер. Мне часто казалось, что вот-вот отец войдет, и я даже слышал его шаги, привычку легко покашливать и его голос. Раз в нашем садике я совершенно ясно слышал, как он позвал меня, и почему-то страшно перепугался. Потом мне приходили в голову самые мрачные мысли: а вдруг отец заболит и умрет? Мне ярко рисовалась ужасная картина нашего сиротства, и хотелось плакать: как

мы будем жить, когда старшему брату было всего пятнадцать лет, а младшей сестре только полгода? Я достаточно насмотрелся на чужое сиротство и вперед переживал свою беду. И это был страх не за то, что вся семья останется без средств и будет бедствовать, нет, материальные расчеты отходили на задний план, а выступала главным образом нравственная сторона - потерять духовную опору, нарушить, так сказать, собирательную душу семьи. Прошло много лет, а я и сейчас до мельчайших подробностей представляю себе свое тогдашнее душевное настроение. Вообще из хорошей, крепко сложенной семьи нельзя вырвать ни одной части, не подрывая в корне органическое существование целого.

Странно, что для меня сразу потеряли всякий смысл все детские игры и занятия, которыми мы с моим другом Костей предавались раньше. Ведь каждая детская игрушка живет своей собственной жизнью, она согрета теплотой детского сердца и детского воображения, она несет в себе первые проблески прорывающейся личности, и вдруг она делается ненужной, лишней и умирает: если есть

жизнь, то должна быть и смерть. Костя приходил ко мне, мы пробовали сделаться сами-сами собой, но из этого решительно ничего не выходило. Мой друг тоже был невесел. Он завидовал мне, что я еду учиться, а он должен оставаться дома. В моменты малодушия я охотно готов был предоставить ему все свои преимущества в этом отношении, но когда мы были вместе, я начинал притворяться и говорил о будущем с полной уверенностью.

- Колотить будут тебя бурсаки, - уверял Костя, страдая от зависти.

- Колотить? - храбрился я. - Нет, ты не знаешь моего характера... Я, брат, и сам могу поколотить. Очень просто...

- Ну, брат, там найдутся такие силачи...

- А у меня есть перочинный нож. Да... В случае чего... Одним словом, я шутить не люблю.

Будущий герой в сущности очень трусил, припоминая короткий опыт своего ученья; но у Кости была скверная привычка поддразнивать, а тут всякий делается героем. Мне кажется, что многие герои делались героями только из трусости и что в каждом человеке

самым мирным образом уживаются и трус и герой.

Моя мать отличалась всегда ровным, невозмутимым характером и была вечно так занята, что не оставалось времени для горьких дум. По отношению ко мне она осталась все такой же, ничем не проявляя своего настроения. На меня это действовало ободряющим образом. Что же, ехать так ехать... Мать выдержала свой характер до конца, до самого момента разлуки. Дело в том, что мне приходилось ждать "оказии", чтобы доехать сначала до Нижнетагильского завода, а там опять ждать "оказии", чтобы доехать до Екатеринбурга. На мое счастье, первая "оказия" не заставила себя ждать. Я прождал дома после отъезда отца всего несколько дней. Раз утром я бродил в садике, как мать крикнула мне в окно, что в Тагил едет Терентий Никитич и что она успела его остановить на дороге.

- Скорее, скорее... - торопила она, хотя, собственно, торопиться было некуда, - все давно было готово.

Мой багаж состоял из одного большого белого мешка, в котором зашито было все мое

имущество. Мой младший братишка настоль-ко был еще мал, что относился к моему отъезду совершенно равнодушно и, кажется, интересовался больше судьбой этого мешка, особенно когда заводский кучер Паньша (уменьшительное от Памфил) начал его привязывать к задку дорожной долгушки. Терентий Никитич, средних лет господин, высокий и коренастый, с добродушным русским лицом, был очень доволен, что мог доставить меня в Тагил.

- Все равно ехать, а двоим веселее, - повторял он, когда мать извинялась за беспокойство.

Мой мешок был привязан, я торопливо простился с матерью и братишкой и довольно храбро занял свое место в экипаже. Мать не плакала, а только смотрела на меня своими большими карими глазами.

- Ну, с богом! - проговорил Терентий Никитич. - Паньша, трогай!..

Пара крепких "киргизок" рванулась разом, и наша долгушка полетела вперед, как перышко. На повороте, где дорога поворачивала влево, я оглянулся, - мать стояла у ворот, дер-

жа на руках маленькую сестренку.

- Мама, прощай!.. - крикнул я.

Прощай навсегда и золотое детство, и родное гнездо, и родные, бесконечно любимые люди!..

Наша дорога огибала новый заводский пруд, к которому сошлись все три конца, на которые делилось заводское население: кержацкий (раскольничий), хохлацкий и туляцкий. С деревянного моста, перекинутого через реку Висим, в последний раз я посмотрел на родной дом. Дальше дорога шла туляцким концом, широкие, правильные улицы которого были уставлены такими крепкими избами. На самом выезде дорога поднималась в горку, и с этой высоты открывался вид на весь завод с деревянной церковью в центре и с дымившей под плотиную старого пруда фабрикою. Нашего дома в этой кучке построек уже нельзя было различить, а можно было только угадывать приблизительно его место.

Терентий Никитич, вероятно, намеренно велел Паньше придержать лошадей, чтобы я мог в последний раз посмотреть на родное место. Да, тут все было родное, и я составлял

только атом этого громадного органического целого. Через многие-многие годы шлю свой привет дорогому Висиму и вижу его теми же глазами, какими видел его в этот роковой день.

- Паньша, трогай! - скомандовал Терентий Никитич.

Я чувствовал, что он наблюдает меня, не расплачусь ли я, но я выдерживал характер и выехал с сухими глазами.

- Молодец! - похвалил меня Терентий Никитич, глядя по спине своей широкой ладонью.

Что такое родина в тесном смысле слова? Какие таинственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в воображении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был родиться именно здесь, где родился? Почему, когда человек начинает стариться, он с такой любовью обращается к местам, освященным именно первыми детскими воспоминаниями? Мне делается как-то жутко при одной мысли о тех миллионах городских детей, детские воспо-

минания которых безнадежно упираются в стену соседнего дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь чердака или подвала, двором грязного многоэтажного дома, пыльной мостовой и, - в лучшем случае, - своею собственною городскою квартирой. Да, это уже не дети, а квартиранты, жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранников какой-нибудь дешевенькой дачкой.

## II

Дорога из Висима в Тагил идет все время горами, пересекая водораздельную линию между Европой и Азией. Мне особенно нравилась первая половина этой дороги, если ехать не прямо на Тагил, а сделать поворотку на Черноисточинский завод. Самый выезд из завода открывался красивой еловой порослью, куда мы каждую осень бегали за рыжиками. Дальше по течению реки Висима начинались покосы, а в числе их и наш, на откосе горы Пугиной. Это было чудное местечко, куда отец любил ездить "с чаем". Тут и бойкая горная речка, и роскошный луг, и лес, и студеный ключик. Для нас, детей, было величайшим

наслаждением съездить на покос. Увы! сейчас, вероятно, я не узнал бы этого места, потому что по всему течению реки Висима открыто золото, и от нашего покоса, без сомнения, не осталось даже следов.

С дороги, где был спуск к реке Висиму, я видел наш покос и мысленно прощался с ним, как прощаются с близким и дорогим человеком.

- Прежде на Пугиной горе я много бил белки, - рассказывал Терентий Никитич, очевидно старавшийся развлекать меня. - Бывало, идешь с охоты и кругом всего пояса навешана белка, как бахрама. Ну, а нынче шабаш!.. Както целый день бродил по Пугиной и Шульпихе, и хоть бы одна белка попалась. Ведь маленькая зверушка, эта самая белка, а какая хитрая: летом, когда она красная, хоть руками ее бери, а как только выпал снег, сделалась она серой, - кончено! Идешь по лесу, собака нашла, облаяла, подойдешь к дереву ничего не видно. Непременно эта самая белка заберется в густую ель, в самую вершину, где ее и не просмотришь. Ну, у нас, у охотников, свое средство: возьмешь топорик, очистишь

кору на ели и обухом по голому месту: бух!.. Молодая белка не выдерживает и бросается на другое дерево, а старая еще поглубже заберется, заляжет между сучками, и ничем ее оттуда не возьмешь, хоть дерево руби. Случалось так, что и дерево рубили: подрубишь дерево, оно повалится, а белка прыг на другое, - только ее и видел. Да, бывает.

Как теперь вижу лицо этого Терентия Никитича, такое доброе, хорошее лицо! Мне кажется, что есть какая-то необъяснимая таинственная связь между именем и человеком, который его носит. По крайней мере я другого Терентия Никитича в своей жизни не встречал. Отлично помню даже то место дороги, где он мне рассказывал об охоте по белке, именно - поворот около горы Пугиной.

Дальше следовал маленький перевал к деревне Захаровой, где через речонку, - кажется, тот же Висим, - был ужасно крутой спуск. Здесь по обеим сторонам моста раскинулся знаменитый прииск "Рублевик", который давал тысячи пудов платины в крепостное время и, кажется, разрабатывается посейчас. Мы ехали в области настоящей уральской Кали-

форнии, где богатствам не было счета и все сокровища сосредоточивались на расстоянии нескольких десятков квадратных верст. Наша дорога пролегла прямо по золотым и платиновым россыпям. В описываемое мною время, - середина шестидесятых годов, - деревня Захарова являлась самою убогою деревушкой, половина населения которой после объявления "воли" ушла в Барабинскую степь. На земле, насыщенной миллионами, стояло около полутора десятка развалившихся избенок. Правда, что тогда платина стоила от 10 до 30 копеек за золотник, а сейчас она стоит около 3 рублей золотник. Кажется, это роковая судьба многих русских богатств: их начинают ценить только тогда, когда они исчезли.

От Висима до Захаровой было всего восемь верст, а на четырнадцатой версте стоял столб, обозначавший границу между Европой и Азией. Это был самый обыкновенный столб, напоминавший трактовую версту, и меня всегда удивляло, что такой важный географический пункт был отмечен таким ничтожным знаком.

- Теперь мы, брат, в Азию перевалили, -

объяснял мне Терентий Никитич. - Были в Европе, а теперь покатаем в Азию. И даже очень просто...

Я знал отлично значение пограничного столба и все-таки испытывал каждый раз какое-то неопределенное волнение, когда ехал мимо, точно переступал какую-то заколдованную черту.

Сейчас за перевалом начиналась совершенно другая картина, как и везде на Урале, где восточный и западный склоны резко отличаются. Дорога шла красивыми изгибами между лесистыми зелеными горами, а потом выходила на крутой обрыв реки Чауша. В детстве я почему-то особенно боялся именно этого обрыва, где дорожная колея шла по самому краю.

- Вот здесь свалился один мужичок с возом, - рассказывал Терентий Никитич. - Его возом-то и накрыло. Мертвого нашли...

Черноисточинский завод расположен на истоке большого Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо красивее нашего Висима. От него до Тагила было что-то около двадцати верст, но характер дороги сразу

менялся, - это была просека, которая шла прямою линией, так что с вершины каждой горы открывался вид верст на пять, и благодаря этому получалось такое впечатление, точно вы едете по какому-то коридору.

- Точно плетью ударено по горам, - объяснил наш кучер Паньша. Никакого фасону...

Кучер Паньша был типичный заводский кучер, ленивый, сильный, с выбритым затылком и сознанием собственного кучерского достоинства. Это был истинный сын знаменитой когда-то заводской конюшни, заменявшей собой острог, пожарную и место экзекуции. По сибирской привычке, Паньша лихо пускал в гору, кричал на встречных в вообще держал себя с шиком настоящего заводского кучера.

Начиная от Черноисточинского завода я уже чувствовал себя чужим все больше и больше, точно въезжал в какое-то чужое государство. Вероятно, Терентий Никитич подметил начинавшийся у меня упадок духа и старался, по возможности, направить мои мысли в другую сторону. Теперь не могу в точности припомнить, что он мне рассказывал, но

В памяти сохранились только отрывки истории какого-то Демидова, одного из родоначальников этой знаменитой фамилии уральских заводчиков, который жил где-то на островах Черного озера, под Белою горой. Потом он рассказывал о медном тагильском руднике, о знаменитой Высокой горе, составляющей сплошную массу магнитного железняка в тридцать пять миллиардов пудов. Но все эти вещи меня сейчас мало интересовали, и мысль о том, что мы с каждым тагом дальше и дальше уезжаем от Висима, заслоняла все остальное. Мне начинало казаться, что я делаюсь все меньше и меньше и что впереди все чужое и враждебное. В самом деле, кому какое дело до какого-то мальчишки? Ведь на свете так много детей, у которых под рукой была какая-нибудь защита, а я был один, один, один...

- Ну, что ты молчишь? - спрашивал меня Терентий Никитич и ласково трепал по спине.

А я думал о своем Висиме, который делался все милее и милее. Мне припоминался Терентий Никитич, каким я его знал в завод-

ской конторе, когда он сидел за своим письменным столом, потом когда он по праздникам пел свежим тенорком на левом клиросе нашей церкви, наконец, когда он бывал в нашем доме в дни семейных праздников, как именины отца. Младший сын Терентия Никитича, Алеша, был нашим приятелем с Костей и принимал живое участие в наших играх и шалостях.

### III

С раннего детства я испытывал какое-то непонятное и жуткое чувство, когда с отцом приезжал в Тагильский завод или Екатеринбург. На меня угнетающе действовала эта масса домов, торопившиеся куда-то люди и вся обстановка людного, бойкого места. Мне казалось, что здесь именно живут всё гордые и сердитые люди, которые почему-то должны меня презирать. Так было и теперь, когда мы въезжали в Тагил с Терентием Никитичем.

- Вот она, матушка, Высокая гора, - объяснял мне Терентий Никитич, указывая влево на небольшую сравнительно гору с остатком соснового леса на вершине и разрытым уступами боком, по которому ползли рудниковые

таратайки, точно мухи. - На тысячу лет руды хватит... А вон видишь громадную зеленую трубу, - это медный рудник. Медная руда лежит глубоко в земле, сажен на восемьдесят. Трудно работать под землей, душно...

По Меднорудинской улице мы выехали к громадной фабрике.

- Вон белый дымок попыхивает, - указывал Терентий Никитич, - это паровая машина работает. У нас в Висиме такой нет...

Мы быстро прокатили по деревянному мосту, перекинутому через реку Тагил, - Паньша хотел показать тагильским заводским кучерам, как ездят по-настоящему висимские кучера. С моста мы лихо взяли в гору, где на площади стоит монументальное здание главной конторы всех заводов с громадной колоннадой, поддерживающею фронтон. На площади перед конторой поставлен великолепный бронзовый памятник одному из Демидовых. Один висимский хохол ехал мимо этого памятника ночью и принял его фигуры за пильщиков, которых за какую-то провинность заставили работать всю ночь напролет.

Дальше шла улица, соединявшая главную

площадь с громадным тагильским базаром. На этой улице сосредоточены были тогда главные магазины с красным товаром, галантереей и бакалеей, и я, как висимский хохол, каждый раз удивлялся тому, сколько нужно безумно богатых людей, чтоб покупать содержимое этих роскошных магазинов.

- Да, в Тагиле много богатых людей, - вслух думал Терентий Никитич, очевидно охваченный такими же соображениями, как и я. - И откуда только, подумаешь, люди деньги берут...

Мы проехали через весь базар, установленный такими же деревянными лавками, как и висимский, затем повернули в улицу, которая вела из Тагила в Екатеринбург, и остановились у маленького двухэтажного деревянного домика в три окна, где жила мать Терентия Никитича. Мне кажется, что у каждого дома есть своя физиономия. Есть дома, которые прямо смотрят на вас такими приглашающими, добрыми глазами, как и домик, у которого мы остановились. В окно выглянула какая-то старушка в темном платочке на голове и, как мне казалось, посмотрела на меня с удивле-

нием.

- А я думала, что это Алеша... - говорила она, когда недоразумение разъяснилось.

- Учиться едет, - говорил Терентий Никитич.

- Как же один-то?..

- Так уж вышло. Ничего, доедет...

И домик был добрый, и старушка добрая, и всякая мелочь домашней обстановки казалась мне доброю. Когда мы пили чай, старушка все смотрела на меня и качала головой.

- Не легкое место доехать до города, - думала она вслух. - Мал еще... Чего бы не случилось дорогой.

- Чему случиться-то? - сказал Терентий Никитич. - Вот найдет обратную подводу до Екатеринбурга и уедет. Тоже везде живые люди, а не звери...

- Так-то оно так, а все-таки мало еще место...

- Этакой-то богатырь да не доедет? - шутил Терентий Никитич, по своей привычке глядя меня по спине.

Он тут же дал мне и совет, где нужно будет искать "обратную подводу". Прежде всего на-

до обойти постоянные дворы около базара, где останавливаются обозные ямщики, и спросить, нет ли обратных в Екатеринбург. Потом по несколько раз в день нужно обходить базар и спрашивать в хлебных лавках и т.д.

Терентий Никитич прожил в Тагиле три дня и почти не бывал дома, кроме обеда и ужина. У него были свои заводские дела в главной конторе. Я с утра отправлялся на обход постоянных дворов и мучных лавок, но ничего подходящего не находилось. Были и ямщики и обозы, но не подходящие для меня: одни отправлялись по гороблагодатскому тракту в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какою-нибудь кладью, так что мне места не находилось.

- Куда ты на возу-то поедешь? - объясняли загорелые, бородатые ямщики, говорившие со мной, как с большим человеком. - Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-нибудь в нырке. Дорога-то теперь - не дай бог!.. За тебя же отвечай...

- А ежели поповича веревкой привязать к передку? - шутил кто-нибудь из молодых ямщиков. - Много ли в нем весу: с пуд не будет.

Старые ямщики останавливали это балагурство и советовали мне подождать пустой подводой.

- Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые поедут, - вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как колобок...

Мне нравилось, что ямщики говорили со мной, как с большим, и я старался говорить, как говорят большие.

- Ничего, подъедут с хлебом, - успокаивал Терентий Никитич, когда я ему давал отчет о своих поисках.

Прошло три дня. Терентий Никитич еще с вечера предупредил меня, что завтра утром уезжает домой. Я отнесся к этому известию довольно равнодушно; но утром, когда Паньша принялся закладывать лошадей, мое настроение сразу изменилось. Мне сделалось ясно, что уезжает последний знакомый человек и что теперь я остаюсь уже окончательно один. Я не мог отойти от лошадей, казавшихся мне почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и завидовал каждому колесу, потому что оно покатится в милый, родной Висим. Меня вдруг охватила смертная

тоска, какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой радостью я опять вернулся бы к себе домой!.. В горле стояли слезы, и я молча наблюдал, как Терентий Никитич собирался домой. Да, он увидит и своего Алешу, и моего друга Костю, и мою мать, которая будет спрашивать обо мне, и родные зеленые горы.

- Ну, кажется, пора? - повторял Терентий Никитич, присаживаясь перед отъездом, по русскому обычаю, отдохнуть. - Жаль, что ты пока не нашел попутчиков... Ну, ничего, найдутся.

Я уже не мог ничего говорить, а только кусал губы в молчаливом отчаянии.

Когда Терентий Никитич простился и сел в экипаж, меня охватило такое отчаяние, описать которое нет слов. Вероятно, человек, которого оставляют на необитаемом острове или хоронят заживо, испытывает нечто подобное. До сих пор я не плакал, а тут разрыдался неудержимо, до истерики, так что плохо помню, как Терентий Никитич выехал.

Жизнь каждого человека идет не ровным током, а чередующимися между собой повы-

шениями и понижениями, в результате чего получается кривая, вроде тех, какие выходят на сфигмографе, записывающем биение нашего сердца. Да, идет день за днем, проходят недели, месяцы и годы почти незаметно, и вдруг это мирное течение нарушается каким-нибудь событием, которое имеет решающее значение на всю последующую жизнь, как было и в данном случае. И солнце так же светит, и кругом люди так же предаются своей обычной суете, и нигде нет никаких заметных перемен, а для вас мир уже совсем другой, и люди кажутся другими, и сами вы уже не тот, каким были еще вчера...

До сих пор у меня сохраняется чувство глубокого сожаления к тем детям, особенно к новичкам, которых каждую осень везут из родной глуши куда-нибудь в город. Я страдаю за них, снова переживая то, что было когда-то пережито. Напрасно говорят, что дети чувствуют одностороннее больших, потому что их собственный жизненный опыт еще только начинается и в силу этого душевный кругозор невелик, - у каждого чувства своя собственная география, которая и велика и мала,

смотря по обстоятельствам. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как тогда Терентий Никитич уезжал домой, и никакие наслоения дальнейшего жизненного опыта не в силах заслонить этот роковой момент, точно он увозил с собой мое действительно счастливое, золотое детство...

Как милая старушка ухаживала за мной, как утешала и со святым терпением выслушивала бурно вырвавшееся детское горе! Я ей рассказывал об отце, о матери, братьях и маленькой сестренке, которых всех так любил. Мне припоминались те случаи из детской жизни, когда я огорчал отца или мать, и мне казалось, что я неисправимый злодей. Да, улететь на крыльях в Висим, всего на несколько минут, чтобы сказать все, все...

- Только до рождества подождать, а потом на святки домой, уговаривала меня старушка.

Меня успокаивали не самые слова, а тот тон, которым они говорились: так знахарки заговаривают и унимают кровь...

#### IV

Пока я искал обратных ямщиков, погода испортилась. Началось тяжелое осеннее

ненастье. По базарной тагильской площади едва можно было пройти, везде стояла грязь по колена. На постоянных дворах было еще хуже, - там и в хорошую погоду всегда было грязно, а сейчас в этой грязи чуть не тонули лошади. Я и сейчас не могу без ужаса вспомнить об этих постоянных дворах, представлявших собой сплошную помойную яму. Во дворе - непролазная грязь, а в избе, где набивалось на ночь ямщиков двадцать человек, буквально нечем было дышать. Да кроме того, благодаря русской печи, в которой варилось, жарилось и пеклось иногда для целого обоза, стоял настоящий банный пар, от которого непривычному человеку можно было задохнуться. Но богатырская натура ямщика все переносила и еще лезла на печь.

Шатанье по этим постоянным дворам на меня производило самое угнетающее впечатление. Да и ненастье не радовало, потому что впереди предстояло ехать в совершенно открытом экипаже, то есть в простой обозной телеге.

После томительных поисков в течение пяти дней я, наконец, натолкнулся на обратных

ямщиков. Как-то иду по базару, где стояли возы с огурцами, и вижу, что около одного воза собралась кучка любопытных. Подхожу и делаюсь свидетелем следующей сцены. Какой-то бойкий торгаш покупает два неполных воза огурцов, причем продавцы никак не могут с ним стовориться.

- Ты купи сперва у меня воз али сперва у брата, - повторил бородатый мужик-огуречник. - Ну, а потом торгуй другой воз...

- А ежели я хочу купить оба воза зараз? - настаивал на своем торгаш. Вам же лучше...

Мужики-огуречники долго мялись, почесывая в затылках. Собравшаяся у возов публика приняла живое участие в их затруднительном положении.

- Да вы, олухи, продавайте, а потом деньги пополам и разделите. Братьям легче делиться...

- Огурцы-то у нас разные, - объяснили братья. - Трудно делиться будет.

Торгаш, наконец, как-то уломал, и дело было кончено. Я воспользовался моментом и узнал, что огуречники едут в Екатеринбург порожняком. Старший брат согласился меня

довезти и назначил цену два рубля. Я попробовал что-нибудь выторговать, но это оказалось напрасным.

- Вон какая непогодь стоит, - объяснял ямщик, - а ехать надо полтора ста верст.

Отъезд из Тагила прошел для меня в каком-то тумане. Острое горе разлуки сменилось тупым настроением. Прощаясь с милою старушкой, которая так ухаживала за мной все эти дни, я уже не плакал. Мои огуречники приехали за мной рано утром. Шел мелкий осенний дождь "сеногной". Оба брата поместились в передней телеге, предоставив в мое полное распоряжение заднюю, где из соломы и сена было устроено мне лежанье. Мой мешок служил мне подушкой. Когда я поместился в телеге, старший брат, огуречник Николай, прикрыл меня сверху рогожей.

- Вот тебе и пуховое одеяло, - шутил он. - Все-таки не каждая капля мимо.

Русский человек не может обойтись без шутки, как бы плохо ни было дело.

Милая старушка перекрестила меня на прощанье и дала несколько советов огуречникам, как нужно следить за мной, чтобы я

не промок дорогой и чтобы меня не обворовали где-нибудь на постоялом дворе.

- Уж будьте спокойны, - уверяли огуречники, - предоставим в лучшем виде.

Наши телеги тронулись. Старушка стояла у ворот и крестила меня издали. Милая старушка, вероятно, давно умерла, но я и сейчас вспоминаю ее с глубокою благодарностью, как человека, который так просто, хорошо и тепло отнесся к первому детскому горю.

Когда наши телеги тронулись, я вспомнил, что не успел сбегать на главную заводскую площадь, где стоял памятник, и проститься с родными горами и родной дорогой в Висим. Почему-то мне казалось, что именно эта площадь являлась лично для меня роковою гранью, отделявшею родное от чужого. За этой площадью оставалось все дорогое, родное, а впереди начиналась та чужая, дальняя сторона, о которой так много говорится в русской народной песне.

Уже при выезде из Тагила я имел удовольствие почувствовать все прелести путешествия в телеге по испорченной ненастьем грунтовой дороге. Сначала мне показалось

очень удобным лежать в телеге; но когда она начала нырять по заторам и рытвинам, делать жестокие толчки о камни, я переменял свое мнение. Нужно сказать, что сибирская ямщичья телега в своем роде идеальное сооружение, начиная с того, что, за исключением железной оковки колес и железного курка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем, она вся слажена неизвестным механиком необыкновенно остроумно, до того включительно, что ее можно починить и поправить где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый вершок, каждый оборот колеса, и только на ней можно было ломать путины по сибирским трактам тысячами верст. Она необыкновенно легка на ходу, потому что переднее и заднее колеса почти сходятся; затем легка на повороте, потому что передние колеса, несмотря на свою величину, свободно подвертываются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим образом для лошади. Воз не мотается на ходу, легко добывается из зажор, и в такой телеге везде можно проехать. Российская телега ничего общего с

сибирской не имеет, - длинна, высока, неповоротлива и вообще тяжела.

Мое "пуховое одеяло" быстро промокло, и сквозь него начала сочиться холодная дождевая вода. Это было пренеприятное чувство, когда она пробиралась холодной струйкой куда-нибудь за воротник или в рукава. Приходилось устраивать дождевой сток, пользуясь сгибами рогожки; но эти невинные хитрости помогали мало. А наши две телеги тянулись по разъезженному и избитому тракту с убийственной медленностью, - вероятно, не больше трех верст в час. До первой станции, "Грань", было двадцать пять верст, и я высчитал, что мы приедем туда уже после ямщичьего обеда, то есть далеко за 12 часов дня. А там лошади должны отдохнуть, потом их будут кормить, и дальше мы двинемся только к вечеру. Впереди предстояло провести всю ночь под дождем. Вообще картины рисовались совсем не радужные. А мои огуречники сидели себе на первой телеге и с ожесточением производили расчеты за проданные огурцы. Николай лежал, а его брат стоял на коленях и все время по пальцам доказывал ка-

кую-то арифметическую выкладку.

- Нет, ты погоди! - кричал младший брат, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие.

Я слышал только одно слово "огурцы", которое повторялось на все лады, и завидовал, что не могу послушать интересного разговора.

На наших горных заводах огурцы на грядках не поспевали благодаря весенним заморозкам, и этот овощ является для нас осенним гостем, когда его привозили из соседних, более теплых уездов, что случалось только поздней осенью. Привозный огурец был обыкновенно перезрелый, желтый и мятый, с пустотой внутри. У нас дома огурцы выводились в тепличке и в парниках и являлись летом своего рода лакомством. Мои огуречники оказались перекупщиками. Они покупали огурцы в Екатеринбурге, везли их продавать на заводы, причем являлся немалый расчет получить обратную кладь. В данном случае последний расчет не оправдался, и мои огуречники имели обиженный вид промотавшихся людей.

Во всяком положении есть какое-нибудь утешение. Лежа под своею рогожкой, я сделал маленькое окошечко и смотрел на попадавших пешеходов, мокрых и по колени в грязи. Ведь им было еще хуже, чем мне. Потом немалым утешением являлись для меня "подорожники", которые мама запрятала в особый узелок. Особенно хороши были пирожки с кишмишом. Я ехал и вспоминал любящие руки, которые позаботились обо мне.

## V

На станции "Грань", состоящей всего из нескольких домов, мы простояли почти до самого вечера. Лошади отдохнули и наелись, а мои огуречники продолжали медлить, потому что никак не могли подвести счетов за проданные огурцы. Дело было близко к ссоре, и я начал опасаться, что они возьмут и бросят меня вот здесь на станции. Последняя мысль явилась на том основании, что и я каким-то образом входил в этот же роковой огурцовый счет, и старший брат, Николай, который, собственно, взялся везти меня, уже несколько раз повторял:

- А мне он что, кутейник? Да наплевать,

ВОТ и все...

- А два цалковых ты все-таки получишь? И огурцы у тебя были мельче...

- А у тебя трех десятков не хватало до пяти-сот...

- Да ведь купец не считал мои огурцы, а купил на глаз.

- Мне это все единственно...

А дождь все продолжал идти, мелкий, назойливый, неумолимый, точно все небо превратилось в одно громадное сито, сквозь которое сеялось ненастье. С "Грани" мы выехали только под вечер. Я переменял свою подстилку на сухую, а мокрая рогожка так и осталась мокрой, да и своего верхнего пальто я не мог просушить. Мои огуречники поступили по-спартански - бросили мокрые рогожи, которыми прикрывались, и отдали себя на жертву стихии. Они опять ехали на передней телеге и опять спорили до хрипоты, проклиная проклятого тагильского торгаша, который подвел обоих.

Темнота быстро сгущалась, и мне начало казаться, что и дорога здесь хуже, и лес выше, и опасность увеличивается с каждым шагом

вперед, особенно когда лошадь, чтобы выворотить засевшую в грязи телегу, сама делала крутой поворот вбок и, как говорят ямщики, "выхватывала" телегу. На счастье, мало подалось встречных, а то разъезд в темноте каждый раз представлял собой опасность полететь вместе с телегой куда-нибудь в канаву. А тут еще дождь... Время, казалось, остановилось. Меня опять охватило отчаяние. Мне некого было стыдиться, и я горько рыдал, уткнувшись головой в мешок. Опять перед моими глазами проносились картины счастливого детства, вся обстановка родного гнезда, дорогие лица, и я опять повторял свое детское прошлое шаг за шагом, точно заучивал урок. С другой стороны, мне рисовалось грозное будущее, материалом для которого служили рассказы брата и мой личный трехдневный опыт. Да, там впереди ждала бурса, неистовая, мрачная, дикая, о которой я слышался с раннего детства. Я был уверен, что никогда больше не вернусь в Висим и что пришел мой конец, а моя телега катится в какую-то мрачную бездну, где нет ни солнечного света, ни голубого неба...

Это была вообще ужасная ночь, бесконечная, темная, холодная ночь. Наши телеги ползли по сплошной грязи, как две черепахи, и только мои огуречники не унимались и спорили всю ночь. Я жадно прислушивался к долетавшим до меня обрывкам фраз и точно хватался за них, чтобы не потерять окончательно чувства действительности. Мне начало казаться, что вопрос об огурцах действительно сейчас самый важный и от его решения зависит все. Даже наши лошади, по моему мнению, чутко прислушивались к хозяйскому спору и в такт ему иногда очень выразительно фыркали.

Следующею станцией был Невьянский завод, старейший из уральских заводов, и я плохо помню, как мы, наконец, добрались до него. Меня охватила, понятно, мертвая дремота, и я, как сквозь сон, слышал мерные и гулкие удары церковного колокола. Это был праздник успенья, и звонили к заутрене. Коегде в избах светились огоньки и топились печи. Потом наши телеги точно были проглочены деревянными воротами постоянного двора, запруженного обозными телегами, лошадьми

и отчаянно галдевшей ямщиною. На мне, как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была битком набита народом. Ямщики тоже были мокрые, и на них рубахи дымились от пара. Меня больше всего беспокоила мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой суматохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стряпуха.

- Полезай на печь, там и высохнешь, - научила она, помогая мне втащить мешок на печь. - Ну и ненастье ударило. Все мокрешеньки, точно из болота вылезли...

Печь была натоплена жарко, меня сразу охватило благодетельное тепло, и я сейчас же заснул мертвым сном, а проснулся только к раннему ямщичьему обеду, то есть в восемь часов утра, вернее сказать, меня едва разбудила та же стряпуха.

- Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе ничего не достанется.

Когда я поместился к артельному столу, кто-то из ямщиков иронически заметил:

- Ну, это настоящий едок, значит... В арте-

ли-то, пожалуй, таких и невыгодно кормить.

Все смеялись, но мне было не до смеха. Кто-то из стариков оговорил зубоскалов, и водворилось молчание. Ели все медленно, солидно, как едят только в артели. Ямщицкий аппетит славится своими колоссальными размерами, и больше ямщиков обозных едят только пильщики. На постоянных дворах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и рыба, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан с квасом, в котором по очереди исчезают ямщицьи головы. Я делал то же, что и другие; но кислый мужицкий квас мне не понравился, да и деревянный жбан был такой величины, что я едва его мог держать в руках.

- А ты, миляга, побольше пей кваску, - советовал кто-то из едоков. Штобы дух заперло.

При отъезде из Невьянского завода я был огорчен неприятным для меня известием, именно, что мои огуречники свернут как раз на половине дороги в свое Аяцкое село, до которого от верхотурского тракта было верст

шесть. Причин для такой остановки было достаточно: "пересобачились кони" от скверной дороги, "хлябало" заднее колесо у передней телеги, а главное, как мне кажется, мои огуречники хотели закончить свои расчеты в семье. Я боялся опоздать в училище, но делать нечего, приходилось соглашаться. Отдохнув в Невьянском заводе, я уже чувствовал себя бодрее.

До села Аяцкого было верст тридцать, и мы ползли чуть не целый день.

Эта остановка заняла четыре дня и не показалась мне скучной. Дом у моих огуречников оказался хороший, и все хозяйство было поставлено по-настоящему. Уж хорошо было одно то, что мы могли отдохнуть, как следует, а главное - обсушиться. Приехав домой, мои огуречники оказались самыми добродушными и очень гостеприимными людьми. Как потом выяснилось, они были из духовного звания, дети какого-то дьячка, а потом "переписались в мужики". На мой вопрос, как это случилось, старший, Николай, с улыбкой объяснил:

- А я табак любил курить, ну, меня и выгна-

ли из училища, а дома отец выгнал. Ничего, и в мужиках люди живут. Не чужой хлеб едим...

Мне этот ответ очень понравился, и я даже подумал, что мужику лучше жить, чем нашему дьячку Николаю Матвейчу. В самом деле, отчего не сделаться мужиком? Чем больше я раздумывался на эту тему, тем легче мне делалось. Что бы ни было впереди, а мужиком всегда можно сделаться.. Я с особенным вниманием осматривал все хозяйство моих мужиков, и мне решительно все нравилось. Изба совсем хорошая, потом всякие хозяйственные пристройки, большой огород, в огороде - своя баня, лошади, коровы, овцы, чего же еще может желать человек? Решительно, хорошо быть мужиком!..

В Аяцком на меня произвело тяжелое и неприятное впечатление только одно, именно - "детский мор". Все село было охвачено эпидемией дизентерии, и я в окна своей избы каждое утро видел, как мужики и бабы тащили под мышкой или на полотенцах маленькие детские гробики. Меня удивляло, что никто не плакал и не убивался, а все относились к своим покойникам с каким-то тупым равно-

душием.

- Ангелочки все будут, - объяснила мне жена старшего брата, Николая. У большого-то человека сколько грехов накопится, а это всё ребячьи безгрешные душеньки...

## VI

От села Аяцкого до Екатеринбурга оставалось семьдесят пять верст, и мы сделали их в двое суток без особенных приключений. Ненастье кончилось, и когда мы въезжали в город, светило яркое солнце. От Висима до города было около двухсот верст, и мне пришлось ехать чуть не две недели. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, а я приехал здоровым и бодрым, чтобы начать новую жизнь.

Николай довез меня до моей будущей квартиры и, вытаскивая из телеги мой мешок, говорил:

- А вот выучишься, человеком будешь... да.

Не могу не сказать здесь, что в моих детских воспоминаниях совсем нет злых и неприятных людей, и я всякий раз с особенным удовольствием уношусь мыслью в далекое прошлое.

С момента, когда Николай водворил мой мешок в квартире, начался мой школьный период, и я окончательно сделался "отрезанным ломтем".

## ДЕДУШКА СЕМЕН СТЕПАНЫЧ

### I

Как оказалось, я приехал раньше, чем следовало. До "открытия классов" оставалось еще несколько дней, в пустой ученической квартире мне было решительно нечего делать, и я решил съездить к своему деду Семену Степанычу, который служил дьяконом в селе Горный Щит, до которого от Екатеринбурга было всего шестнадцать верст. Эта поездка к деду явилась для меня громадным утешением, потому что в большом городе я чувствовал свое полное одиночество с особенной яркостью, как случайно забежавший из леса в селение заяц.

Нужно было найти "обратную подводу", в чем я уже напрактиковался, и отправился прямо на хлебный рынок, где останавливались горнощитские мужики. На мое несчастье, как раз такого обратного горнощитского мужика не оказалось: нашелся выпивший

мужичок из села Макаровского, который за тридцать копеек согласился сделать крюк верст в шесть.

- Доедем как-нибудь... - повторял он заплетавшимся немного языком.

Торг происходил довольно упорный, причем, сторговавшись за тридцать копеек, я нашел эту сделку настолько выгодной, что решился допустить некоторую роскошь и отправился с своим возницей в обжорный ряд. Никакой русский город, как известно, без обжорного ряда существовать не может, а в Екатеринбурге он особенно бойко торговал, потому что в бойкий город съезжалось много крестьян из соседних деревень, да к этому еще нужно прибавить обозную ямщину. От хлебного рынка до обжорного ряда было рукой подать - перейти одну небольшую улицу. Он помещался под громадным деревянным навесом, из-под которого еще издали можно было слышать отчаянные вопли торговков, зазывавших покупателей на все лады, а главное, неистово ругавшихся между собой. Под навесом расставлены были длинные деревянные столы, не отличавшиеся особенной чистотой.

Прямо на этих столах совершалось и приготовление кушанья, и его продажа, и потребление. Тут же торговали ржаным хлебом, сайками и калачами, квасом и сбитнем. Но главная торговля шла около "горячего". В особых котелках и железных печках, подогреваемых жаровнями, варили решительно все, что только может представить себе самое смелое воображение. Тут были и щи, и похлебка из осердя (осердые - легкое с сердцем), и вареная печенка, и студень, и разваренные бычачьи головы, и пирожки, и пельмени. В середине шестидесятых годов, к которым относятся мои воспоминания, в Екатеринбурге все было очень дешево, особенно мясо, благодаря степному скоту, который пригонялся сюда из Оренбургской губернии. На две копейки неприхотливому человеку можно было наесться досыта - на копейку чашка щей, а на другую копейку фунт хлеба. Так и сделал мой возница, а я поддался соблазну и допустил роскошь. Именно, на одну копейку купил два пирожка с мясом, которые назывались "сподобами" и, кажется, нигде больше не готовятся, как только в екатеринбургском

обжорном ряду, - это почти в ладонь величины дутые пирожки с начинкой из мяса, в которые вливается мерка бульона. Вещь очень вкусная, хотя начинки полагалось и недостаточно. На вторую копейку я съел десяток пельменей, и, как сейчас помню, они были удивительно вкусны. Все столы были заняты, и торговки кричали с таким азартом, что мне сделалось страшно за человека. Конкуренция совершалась у всех на глазах, и я только удивлялся, откуда берутся такие голоса и азарт. Впоследствии мне иногда приходилось бывать в этом обжорном ряду, когда по праздникам мы, школьники, хотели полакомиться "сподобами", и у меня об этом обжорном ряде осталось теплое детское воспоминание, как об обедах с бурлаками на барках и башкирских кушаньях. Конечно, по части чистоты можно пожелать многого, но, как говорят матросские артельные повара, - "за вкус не ручаюсь, а горячо сварю".

Допустив роскошь, я сейчас же раскаялся в своей слабыхарактерности. Ведь деньги так и плыли: там пятак, тут гривенник, - моя касса подвергалась медленному разгрому.

Мне было дано шестнадцать рублей, и этих денег должно было хватить до самого рождения, а я проедался по обжорным рядам... Мне припомнилась история двух дьячков, которую рассказывал отец, и оказалось, что я поступил, как неразумный дьячок. Цену денег я знал отлично с раннего детства и понимал, что отец отдает последние гроши на наше воспитание с братом, а там дома еще два маленьких рта.

Мой возница сходил еще раз в кабак, стоявший на хлебной площади у Сплавного моста, и окончательно захмелел.

- Доедем как-нибудь... - повторял он икая.

Я всячески торопил его и ужасно был рад, когда мы, наконец, тронулись в путь.

Екатеринбург в середине шестидесятых годов еще сохранял следы военного города, потому что он служил центром уральской промышленности, а она находилась на военном положении. Правильные улицы, почти везде тротуары и тумбы, - последние меня очень занимали, потому что у нас в Висиме не было ни одной тумбы. Военная щеголеватость и чистота простирались далеко за черту города,

окаймленного широкой полосой соснового бора, который хранили как зеницу ока. В этом сосновом лесу царила поразительная чистота, точно все было подметено. Происходило это оттого, что деревьям не позволялось рубить и городская беднота подбирала весь валежник, хворост и обломанные сучья.

Дорога из Екатеринбурга в Горный Щит шла именно через этот лес. Впечатление портили только салотопенные заимки, заражавшие воздух ужасным зловонием на целую версту. На границе леса стоял лесной кордон, на котором жили лесные сторожа, ловившие лесоворов. Как доказательство их неусыпной бдительности, на кордоне гнили десятки захваченных у лесоворов бревен. Я проезжал мимо этого кордона десятки раз и никогда не мог понять, для чего отнимали эти бревна, если они, как оказывалось, никому не нужны были.

Мы только что миновали кордон, как чуть не разыгралась настоящая драма. Как раз в лесу была поворотка в Макаровку, и мой возница хотел ехать по ней.

- Ведь ты должен везти меня в Горный

Щит? - проговорил я, выхватывая вожжи.

- Вылезай... все равно... - бормотал захмелевший окончательно возница, стараясь вырвать у меня вожжи. - А я домой...

Положение получалось критическое. Дело в том, что я мог бы дойти до Горного Щита и пешком, но со мной был мой дорожный мешок. Опасности создают героев, и я поступил с отчаянной смелостью. Мы сидели посреди телеги на деревянной доске, и я столкнул своего коварного возницу в задок телеги, а пока он барахтался, я ударил лошадь хлыстом, и поворотка осталась назади. К моему удивлению, возница несколько не рассердился, а поместился опять рядом со мной как ни в чем не бывало и, потряхивая головой, повторял:

- Ах, ты... дда-а... Ничего, как-нибудь доедем.

Впоследствии мне приходилось изъездить по Уралу тысячи верст, но это был единственный случай неосуществившегося насилия, хотя уральское население вообще особенной мягкостью характера не отличается.

Я до сих пор с особенным удовольствием вспоминаю эту дорогу в Горный Щит, особен-

но вторую ее половину, которая начинается от села с странным названием - Елисавет. Дорога идет по настоящему сибирскому чернозему, а кругом зеленеют бесконечные пашни. В хорошую погоду ничего не может быть лучше, как езда по такому проселку. Телега катится по мягкой, убитой дорожке среди живых стен ржи, овса, ячменя и пшеницы. Вдали кое-где зелеными шапками выделяются лесные островки, еще дальше синееет линия далекого леса, по речкам и ручьям все запущено вербой и ольхой, - вообще хорошо, и как-то чувствуешь вот этот благодатный чернозем и какую-то особенную свободу, точно и небо здесь выше, чем в горах.

## II

Горный Щит - довольно большое село, раскидавшее свои избышки по берегам мелкой речонки, в которой летом буквально было курам по колено. Летосчисление здесь, как и в других деревнях, где появляются соломенные крыши, велось по пожарам. По дороге из Висима до Горного Щита нигде не было ни одной избы с соломенной крышей, а здесь уж чувствовался недостаток в лесе, и приходи-

лось доски заменять соломой. Издали еще виднелась высокая белая каменная колокольня. Церковь в Горном Щиту была новая, но построена по-старинному, в два этажа, - в нижнем помещалась теплая, зимняя церковь, а в верхнем - холодная, летняя. Около церкви расстилалась зеленой полянкой большая площадь, а в дальнем ее конце стоял низенький деревянный домик, глядевший на мир божий своими маленькими оконцами с каким-то старческим добродушием. В отличие от наших заводских построек этот уютный домик был крыт не кровельным тесом, а сосновыми драницами. Это и был домик дедушки Семена Степаныча. К воротам вела узенькая тропка, потому что в течение года на колесах подъезжали к нему, может быть, всего раз десять. Калитка держалась на запоре, и нужно было постучать в окно кухни, тогда в нем появлялось немного встревоженное лицо моей прабабушки Феофилы Александровны, восьмидесятилетней старушки. Она недоверчиво оглядывала гостя, дергала веревочку, и калитка открывалась. Мне нравилось устройство двора, содержавшегося в величайшем порядке.

Он делился на три части, прямо от ворот шел, так сказать, проезжий двор, усыпанный и утрамбованный мелким песком; он упирался в целый ряд деревянных хозяйственных построек амбары, погреб, сарай. Линия хозяйственных построек занимала весь задний план и кончалась небольшой баней. От ворот шел глухой забор, отделявший вторую часть двора, где была великолепная зеленая полянка, и дедушка косил здесь траву.

- Для чего вам, дедушка, сено, когда у вас нет ни коровы, ни лошади?

- А гости приедут?

Эта заботливость была особенно трогательна, потому что гости, то есть два зятя, приезжали года через два.

Налево за домом шло третье отделение двора, прикрытое деревянным навесом, где хранились дрова и разный хозяйственный скарб, боявшийся воды. В этом отделении висела у столба железная рукомойка (на Урале чаще говорят - рукомойка, а не рукомойник), и нам, малышам, доставляло большое удовольствие умываться здесь по утрам холодной ключевой водой.

Меня удивляло, что, когда ни приедешь к дедушке, все находится в том же виде, как и десять лет тому назад, точно самое время здесь остановилось, как в заколдованном царстве. Ни одной новой вещи, а все старые и знакомые неизменно стоят на своих местах, до ухватов бабушки у печки и горшков на полках включительно. То же самое во дворе, на погребе, в сарае и в бане. И сами хозяева всегда были дома, как их вещи, а прабабушка Феофила Александровна едва ли в течение года выходила за ворота хотя один раз. Удивительнейшей особенностью маленького дьяконского домика было то, что в нем не было часов, хотя дедушка имел полную возможность иметь и стенные и карманные часы.

- Для чего мне часы, Митус? - объяснял мне дедушка, он всегда называл меня Митусом. - У меня самые верные часы: видишь две ели, которые растут в огороде отца Вениамина, - вот тебе и часы. Солнышко налево - значит, утро; солнышко над ними - значит, полдень; солнышко направо - значит, вечер. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно, и починки не требуют...

- А в дождь как?

- В дождь... Ну, тут у меня карманные часы действуют, - объяснял старик, хлопая себя по желудку: - захотел есть - значит, двенадцать часов. Эти часы подороже будут стенных, потому что каждый день требуют и завода и починки...

Одним словом, день здесь еще не дробился на часы, потому и самое время здесь катилось с такой же медленностью, как вода в горнощитной речонке. Там, где-то за горами, долами и лесами, человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту, а здесь, в этом маленьком домике, день прошел, - и слава богу!

И в этот раз, как всегда, дедушка и бабушка были дома, когда я довольно торжественно подъехал на своей телеге к воротам. Выглянуло сморщенное лицо Феофилы Александровны, а из-за ее спины раздался веселый голос дедушки:

- А, Митус!

Покачивавшийся на ногах мужик внес мой мешок в "горницы" и получил стаканчик водки. Бабушка внимательно осматривала

меня с ног до головы и почему-то качала головой. Это была полная старушка, ходившая по комнате с трудом и постоянно охавшая, что не мешало ей работать с утра до ночи и вести все хозяйство. В последние годы, по временам, бралась на побегушки какая-нибудь девчонка лет двенадцати, обязанности которой, главным образом, заключались в том, чтобы стрелой нестись в амбар или на погреб и приносить оттуда искомое. Но, привыкшая всю жизнь управляться одна, старушка страшно волновалась, и ей все казалось, что девчонка делает все не так. Я лично не особенно долбил Феофилу Александровну, потому что она постоянно ворчала, особенно на меня, благодаря неистощимым детским шалостям. К особенностям бабушки принадлежало еще то, что она каждую фразу начинала с междометия "ох!". "Ох, надо печку топить... Ох, надо воду носить!" и т.д. Старушка употребляла еще двойственную форму падежных окончаний, теперь окончательно вышедшую из употребления.

Дедушке Семену Степанычу было всего за пятьдесят лет. Это был небольшого роста

очень крепкий мужчина, фигуру которого портил только как-то смешно округлившийся живот, и мне, когда я был маленьким, казалось, что у него под подрясником спрятан арбуз, вообще что-нибудь круглое. Красивое русское лицо Семена Степаныча, с небольшой русой бородкой и строгими серыми глазами, точно светлело от каждой улыбки. Он оставался неизменно спокойным, с какой-то строгой ласковостью в обращении, и каждое его слово имело вес.

- Ну, Митус, разве мы сегодня в баньку сходим? Хорошо с дороги распарить косточки...

Баня составляла в этом доме первое угощение, в котором дедушка любил принять участие и сам.

- Ох, он хочет есть, - спорила бабушка.

- Что же, сначала закусим, а потом и в баньку, - согласился дедушка.

У старушки была страсть всех кормить, и ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинулся с волчьим аппетитом. Старушка принялась ставить самовар и все охала, поглядывая на

меня, а дедушка похаживал по комнате и курил деревянную крестьянскую трубку. Эта последняя составляла предмет нашего жгучего детского любопытства, потому что дедушка не любил раскуривать ее спичкой, а высекал огонь из кремня на кусочек трута. Операция добывания огня этим старинным способом составляла мое любимое удовольствие, хотя стальной плашкой от излишнего усердия я и попадал часто вместо кремня по собственным пальцам. Дым от затлевшегося трута казался мне лучшим из всех ароматов, и я умолял дедушку, чтобы он позволял мне добыть ему огня, когда он, по его выражению, хотел после обеда "позолотить хлеб-соль". Бабушка добывала огонь лучинкой из печки, где загнета сохраняла жар целый день. Были серные спички, которые лежали в печурке, во к ним старушка прибегала только в самых крайних случаях, потому что не умела обращаться с новомодными спичками. Она брала такую спичку за самый конец, вероятно, чтобы не обжечь пальцев, долго и неумело чиркала ею по коробке и часто кончала тем, что только ломала спичку, не добившись огня.

В этом доме все делалось оригинально, до чаепития включительно. Самовар ставился на стол на особый поднос, чайник ставился на конфорку, и только наливали по одной чашке, как самовар сейчас же доливался, и приходилось ждать, когда он опять вскипит. Сколько выпивали чашек, столько раз ставили и самовар. Процедура довольно мучительная, особенно когда хотелось пить.

- Ох, растопится самовар, - охала старушка. - Какие нынешние самовары делают, только званье, что самовар.

У нас дома дело было совсем иначе, и я напрасно старался доказать бабушке, что самовар никогда не растопится, если его прикрыть крышкой.

- Ох, ничего ты не понимаешь, Митенька!..

Самовар считался новым и на этом основании находился в постоянном подозрении, но ему, вероятно, по меньшей мере было лет тридцать, судя по яйцевидной форме и ручкам.

### III

Внутри домик дедушки состоял всего из двух комнат: кухни и собственно горницы.

Кухня на одну треть была занята русской печью: Она служила и передней, и столовой, и приемной для не особенно важных гостей. Мне больше всего нравились полати, устроенные по-деревенски, где я любил спать. Обоев тогда не полагалось, и стены прямо по штукатурке окрашивали охрой или медным купоросом. Кухня содержалась в величайшей чистоте, и я не помню, чтобы в ней где-нибудь стояло неизбежное поганое ведро, лохань или что-нибудь подобное, что придает кухням такой непривлекательный вид. Собственно горница была втрое больше кухни и разделена зеленой ширмой на две половины, за ширмой была спальня дедушки и его гардеробная. Обстановка была самая скромная: простая деревянная мебель и маленький письменный столик в виде залавка, который заменял дедушке бюро, письменный стол и несгораемый шкаф. На столе лежали разные церковные деловые книги. Дедушка писал гусиными перьями и засыпал написанное мелким песочком. Полы были крашеные, и по ним шли домотканые дорожки из разноцветного тряпья. Ламп, как и у нас в Висиме, не

полагалось, а по вечерам сидели с сальными свечами, что не составляло особенного неудобства, потому что долго "сумерничали" и ложились спать рано.

Главная особенность дедушкина домика от нашего висимского заключалась в том, что в нем не было книг... Были книги богослужебные, разрозненные тома какого-то духовного журнала - и только. О газете не было и помину. Меня это страшно удивляло, и когда я приставал к дедушке с расспросами на эту тему, он с улыбкой отвечал:

- А для чего мне книги?

- Да ведь скучно без книги? А из газет вы бы знали все, что делается на свете...

- Ну, у нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится. Он все у нас знает...

- Ох, все знает, - подтверждала бабушка, почему-то считавшая о.Вениамина самым хитрым человеком на свете. - Ох, он такой уж... Ну, да бог с ним.

Впоследствии я разыскал в кладовой какие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском

языке. Он учился в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы свободно не только писали, но и вели диспуты по-латыни. Мне делалось как-то невыразимо грустно, когда я вспоминал наш висимский книжный шкаф и своих любимых авторов, и я не мог понять, как дедушку не интересует чтение. Мне казалось, что я очутился в каком-то другом царстве, среди неизвестных людей, которые меня не понимают и которых я в свою очередь не понимаю. Припомнился мне и мой друг Костя, с которым мы читали заповедей, - ведь Костя нигде не учился, а дедушка дошел в семинарии до философии, - значит, учился всему. В мою душу закрадывалось сомнение в пользу школьного образования.

Баню дедушка всегда топил сам, и все материалы для этого у него заготовлялись заранее и хранились в величайшем порядке - особенно наколотые дрова и растопки. Баня была маленькая и летом заменяла спальню. Чистота в ней соблюдалась идеальная. На этот раз угощение банькой для меня кончилось довольно печально, - дедушка закрыл трубу раньше времени, и я угорел до обморока. Де-

душка вытащил меня в предбанник и едва отлил холодной водой.

- А еще заводский человек, - шутил он, - живете в дыму, а тут угару испугался.

Любимой темой для разговоров со мной у дедушки были поддразнивания заводским дымом. Я отчаянно защищал свой Висим, как самое лучшее место в свете, а дедушка улыбался и повторял:

- Копоть, дым у вас... А у нас - одна благодать. Поля, луга, лес... Воздух чистый. У вас ни одного жаворонка нет...

- А у вас нет гор, настоящих лесов, - спорил я.

- У вас и лес дрянной: ель да осина. А у нас бор... Идешь как по ковру. Вот я осенью сколько сухих груздей и рыжиков наберу.

- А вы приезжайте в Висим и посмотрите. Сами увидите, что у нас лучше.

- И то собираюсь... Ужо как-нибудь приеду погостить.

Дедушка собирался лет двадцать и не мог собраться. В этом сказалась чисто русская черта - откладывать день за днем, оправдываясь перед самим собой разными предложениями.

Когда после обеда мы сидели за самоваром, разговор шел именно на тему о преимуществах Горного Щита, причем дедушка огорчил меня до глубины души, когда категорически заявил, что у нас на заводах живут одни разбойники.

- Ох, уж и наши горнощитские мужики хороши, - вступилась бабушка, такие плуты, такие плуты, что и не выговоришь... Ни одному-то человеку поверить нельзя. Прежде еще бывали и хорошие люди, а нынче... ох, какой отчаянный народ пошел. Все пьяницы, все воры...

Бабушка Феофила Александровна страдала всю жизнь мыслью о гибели мира. К своим современникам относилась она с крайней подозрительностью, начиная с хитрого попа Вениамина и кончая собственным самоваром. Старушке казалось, что сейчас за стенами ее домика начинается бурное море коварства, лжи, обмана и самых губительных страстей. До известной степени она, вероятно, была и права, потому что за восемьдесят лет своей жизни насмотрелась всего достаточно. Горный Щит в этом отношении являлся особенно

больным местом, потому что в качестве подгородного села быстро усваивал плоды городской цивилизации. Мужики пили водку, бабы зарились на городские ситцы, кое-где появились уже самовары, некоторые мужики уходили на легкие городские заработки, бросая свои семьи, и т.д. Бабушка все это видела и душевно скорбела о несовершенствах мира вообще и специальных прегрешениях горнощитских обывателей в особенности. Зло начиналось сейчас же, стоило только выйти за ворота дедушкина дома, и бабушка на этом основании смотрела на мир божий через кухонное окошечко с большой подозрительностью и даже страхом, как смотрит напуганный пассажир из своей каюты в корабельное оконце на разбушевавшийся океан. Мне казалось, что бабушка Феофила Александровна — это старая-старая книга, с пожелтевшими от времени листами, в старинном переплете, и что, несмотря на ее ворчание, она все-таки добрая, как все старые книги.

Причин бояться всего на свете у бабушки было достаточно, потому что вся ее жизнь прошла в сплошном труде и вечных заботах.

Она рано овдовела и осталась с двумя детьми на руках, которых приходилось воспитывать на вдовьи слезы. Ее дочь вышла замуж за дедушку Семена Степаныча и умерла очень рано, оставив двух девочек - мою мать и тетю Александру Семеновну. Феофила Александровна переселилась к зятю, воспитала сирот и выдала замуж. Вообще это была вечная труженица и очень умная женщина. К числу ее особенностей принадлежало то, что она почти в течение шестидесяти лет не ела никогда мяса, - это, кажется, сибирский обычай, чтобы вдовы вели полумонашеский образ жизни. Конечно, в детстве я не понимал и не мог по достоинству оценить своей прабабки и частенько огорчал ее своими шалостями.

- Ох, уж ты, как только ты и жить будешь! - ворчала старушка, качая головой. - Ох, трудно жить на свете, Митенька... Не дай бог, как трудно!..

У детской любви своя география, и она мне напоминает расходящиеся концентрические круги от брошенного в воду камня. Чем дальше от центра, тем слабее волна, так и детская любовь, которая в редких случаях достигает

прадеда или прабабки. А кто были прапрадед и прапрабабка, как они жили, что их радовало и печалило, - все это уже выходит из детского кругозора, и на этой роковой границе замирает детская любовь, как блуждающий огонек. Между прочим, в роду Феофилы Александровны был какой-то швед, вероятно, один из тех пленных шведов, которых царь Петр сослал на Урал для насаждения горного дела. Он прижился на Урале, женился и дал начало целой духовной фамилии Воинсвенских, - воин свенский - воин шведский. Я в детстве часто думал об этом таинственном предке-пленнике, для которого Урал сделался второй родиной, и мне делалось почему-то его жаль.

#### IV

Жизнь в дедушкином доме точно застыла, как стоит тихо-тихо вода где-нибудь в речном омуте. Один день походил на другой, как походят монеты одного чекана. Не было больше ни желаний, ни надежд, ни особенных забот, а только стремление сохранить настоящее, как оно есть. Даже не было мысли о наживе и деньгах вообще, в чем так любят обвинять на-

ше духовенство. О деньгах как-то было не принято говорить ни в Висиме, ни в Горном Щиту. Еще в раннем детстве я задумывался над этим отсутствием всяких желаний и никак не мог понять причины. Для сравнения у меня перед глазами был покровский дедушка, Матвей Петрович, тоже дьякон, но человек крайне деятельный. Я его мало знал. Это был высокий, полный, седой, строгий старик с окладистой большой бородой. У него была большая семья, которую поднимать на ноги стоило громадных трудов. Одного дьяконского заработка, конечно, не хватало, и у дедушки была устроена в нижнем этаже его дома громадная столярная мастерская, дававшая возможность пополнять бюджет. Кроме столярного ремесла, Матвей Петрович занимался ювелирным делом. Вообще старик отличался деятельным характером и даже ходил на охоту. Так как дьякону запрещено это удовольствие, то старик брал с собой кого-нибудь из крестьян, давал ему ружье и так ходил в лес. И село Покровское не походило на Горный Щит, - это было настоящее бойкое сибирское село (Ирбитского уезда), вытянувшееся

по тракту на целых семь верст. Зимой, когда открывалась Ирбитская ярмарка, Покровское жило самой кипучей жизнью. День и ночь тянулись бесконечные обозы, летели тройки с купцами и т.д. В доме Матвея Петровича было всегда илюдно и шумно, особенно когда собиралась вся семья. За стол садилось человек по двенадцати. Была жива и бабушка, но я ее совсем не помню, а помню только красивую и бойкую тетю Душу, красивую девушку, которая наполняла веселой суматохой весь дом. Особенно я любил, когда красавица Душа (уменьшительное от Авдотьи) что-нибудь пела своим светлым девичьим голосом. Дедушка Матвей Петрович был строг, и все его боялись, за исключением одной Души.

Только впоследствии я понял истинную причину разницы в жизни обоих дедушек. Дедушка Семен Степаныч овдовел рано, во второй раз жениться, как дьякон, не мог, и жена унесла из дому половину жизни, а вторую половину унесли дочери, когда вышли замуж. Семен Степаныч и Феофила Александровна просто доживали жизнь, не ожидая ничего в будущем, кроме "тихия и безболез-

ненные кончины".

В Горном Щиту я прогостил дня три и, между прочим, понял разницу, какая разделяет внуков: мой старший брат, Николай, в качестве внука № 1-й, имел большие преимущества передо мной, как перед вторым сортом. Очевидно, на внука-первенца было израсходовано больше внимания и любви, а я появился на свет уже так себе. Прямо этого не высказывалось, но это не мешало мне чувствовать существовавшую разницу, и я утешал себя тем, что у себя дома в Висиме между нами никакой разницы не существовало.

- Ну, Митус, пора тебе в город, - заявил дедушка еще с вечера, когда мы ужинали в кухне. - Пора, брат, за науку приниматься...

У меня сжалось сердце от этих слов, - я только что отдохнул от дорожных волнений и своего первого детского горя, а тут приходилось все начинать снова.

Сборы в дорогу у дедушки обыкновенно начинались с вечера, точно он по меньшей мере готовился совершить экспедицию куда-нибудь к Северному полюсу или в Центральную Африку. Особенно волновалась ба-

бушка.

- Ох, не потеряй ты что-нибудь дорогой-то... - давала она последние советы. - А то в городе-то еще украдут как-нибудь. Ох, какой нынче народ везде... Да в лавку-то к Ивану Михеичу заезжай, а то другие торговцы как раз обманут и подсунут не знаю что.

В Екатеринбурге, как была убеждена старушка, единственным порядочным торговцем был Иван Михеич, старичок с пожелтевшей от старости бородкой, у которого дедушка неизменно закупал все в течение тридцати лет. Дедушка и сам не верил честности остальных торгашей, но бабушка считала необходимым напомнить ему об Иване Михеиче каждый раз, точно он ехал в город в первый раз и не умел отличать правой руки от левой.

Утром мы поднялись чем свет, почему-то пили чай торопливо, точно спешили на поезд. У ворот уже стояла крестьянская телега, а около нее с кнутиком похаживал мужик, возивший дедушку в город. Он тоже был единственным в своем роде, как Иван Михеич в городе. Укладывая свой багаж в телегу, де-

душка пересчитал все вещи несколько раз и наставительно повторял мне:

- Митус, помни: семь мест...

- Ох, непременно к Ивану Михеичу ступай, - наказывала из окна в последний раз Феофила Александровна. - Ох, ни к чему ведь приступу нынче нет... Денег-то не напасешься на торгашей. Ох, кожу с живого человека готовы они снять... Прямо к Ивану Михеичу.

Такой же наказ был дан и кучеру, который в ответ передвигал свой триповый картуз с одного уха на другое, - в Горном Щиту мужики носили триповые картузы, каких потом я нигде больше не встречал. Когда наша телега тронулась, Феофила Александровна долго крестила нас вслед.

Я сидел и молчал, подавленный новой разлукой. Вот за поворотом скрылся и дедушкин домик, и церковь осталась назади, и прогремел под колесами ветхий мостик через речонку, и точно убежали назад последние избенки с соломенными крышами, а впереди поля, поля и поля. Желтели убранные полосы, установленные снопами, чернели пары, начинали зеленеть озими.

- Благодать у нас, - любовался дедушка. - С хлебушком убрались, сена наставили, обсеяли озими, подняли пары, а как ударят заморозки, - начнется молотьба. А у вас в Висиме только и всего, что один дым...

Я больше не спорил, потому что чувствовал себя прескверно. У меня в ушах точно стучали слова бабушки: "Ох, трудно, Митенька, на свете жить..." Я это чувствовал, мое сердце сжималось все сильнее от грустного предчувствия грядущих бед.

Вот и поля кончились. Показался Елисавет. Дедушка показал на низенькое белое каменное здание, приютившееся у самой церкви, и проговорил:

- Вон воронье гнездо...

Он питал какую-то необъяснимую ненависть к монахиням, а в Елисавете они действительно вили себе гнездо. Это было отделение громадного Новодевичьего Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. В Елисавете у них была своя заимка, где велось всякое сельское хозяйство. Впоследствии, проезжая осенью рано утром мимо этой монастырской заимки, когда шла молотьба, я вспоминал срав-

нение дедушки, хотя молотившие хлеб монахины скорее походили на галок, а не на ворон.

В городе мы приехали, конечно, к Ивану Михеичу, который встретил нас фразой, которой он, вероятно, встречал дедушку не меньше тридцати лет:

- Что-то давненько вы не бывали у нас, отец дьякон?

- А денег шальных не было...

Когда были сделаны необходимые закупки, дедушка повел меня в ряды, где жались одна к другой деревянные лавчонки и просто лари. Кажется, старик хотел мне что-то подарить и пробовал прицениться к разным вещцам; но когда торговец назначал цену, он махал рукой и говорил:

- Не по нам, Митус...

"По нам" оказалась только трехкопеечная сайка. Впрочем, я не огорчился этим "не по нам", потому что знал его раньше, а потом оно значило то же, что у моего отца "прихоти".

Дедушка подвез меня к моей квартире, но сам в квартиру почему-то не пожелал войти. Вероятно, из привычки не соваться в чужие

дела. Я долго стоял у ворот, провожая глазами телегу, увозившую последнего родного человека. А в окно квартиры уж выглядывали любопытные детские лица, и слышались голоса:

- Новичка привезли... новичка...

Много прошло лет... Нет на свете ни дедушки Семена Степаныча, ни бабушки Феофилы Александровны, не стало и их уютного домика, - он после их смерти был куплен о.Вениамином и сгорел в один из пожаров, неизменно посещающих Горный Щит. Не стало и сельской тишины, которой так любил похвастаться покойный дедушка, - под самым Горным Щитом были открыты золотые россыпи, и мирное когда-то село пережило все муки охватившей его золотой лихорадки. В довершение всего, по тем борам, где дедушка собирал свои рыжики и грузди, прошла железная дорога, унося с собой последние остатки тихого жития.

НОВИЧОК

I

Детский мир, как я уже сказал, расширяется концентрическими кругами, и самые сильные привязанности помещаются ближе к

центру, каким является родное гнездо. Первой ступенью после него являются друзья детства, а следующей за ней - школьные товарищи.

Может быть, недостаток материала в детской душе по части впечатлений внешнего мира, может быть, особая чуткость и восприимчивость этого нежного возраста, - но эти привязанности сохраняются на всю жизнь с особенной яркостью, и понятна та радость, которую испытывают при встрече с друзьями детства и школьными товарищами. Ведь школа - вторая семья, в которой дети срастаются тысячью своих маленьких детских интересов, радостей, забот и огорчений.

С наступлением школьного возраста я много и часто думал о будущих школьных товарищах, причем у меня уже был и готовый материал для некоторых определенных представлений. Дома я несколько раз прочитал очерки бурсы Помяловского и знал приблизительно, что меня ожидает в недалеком будущем. У нас в Висиме служил единоверческий священник, о.Николай, типичный старый бурсак, отлично рассказывавший о своем вре-

мени. Мой отец, по органическому отвращению к бурсе, никогда не вспоминал о ней. Изредка, - очевидно, в утешение мне, - он говорил:

- Конечно, теперь другое время, новые порядки, а все-таки...

В общем, у меня составила довольно определенная картина моего школьного будущего, но она совершенно исчезала, когда я начинал думать о будущих товарищах, как об отдельных лицах. Конечно, это будут поповичи, дьяконские, дьячковские и пономарские дети, Петры, Иваны, Николаи, но какие они будут сами по себе? Ведь каждый молодец на свой образец; у каждого, наконец, - своя собственная физиономия, характер и привычки; кто эти незнакомцы, с которыми придется жить в одной комнате, сидеть долгие годы в одном классе, за одной партой? Тут и будущие друзья и будущие враги... Говоря откровенно, я сильно трусил, потому что хотя рос и бойким мальчиком, но не отличался особенным здоровьем и физической силой. А бурса признавала только один закон - силу и больше ничего не хотела знать. Благодаря своей

хилости я вперед знал, что не буду играть никакой особенной роли в кругу своих будущих товарищей, и в моих воспоминаниях об этом школьном периоде я являюсь самым невидным лицом.

Как я уже говорил, дедушка Семен Степаныч оставил меня у ворот моей квартиры, которая помещалась во втором этаже старого полукаменного дома с мезонином. Когда я тащил по двору свой мешок, из открытых окон меня провожали возгласы:

- Новичок приехал... Братцы, новичок!..

Ученическую квартиру держали две старые мещанские девицы, Татьяна Ивановна и Фаина Ивановна. Первая являлась главным ответственным лицом и распорядителем, а вторая заведовала кухней, которая была через двор. Собственно, наша квартира состояла всего из одной комнаты, выходящей на улицу тремя окнами и во двор - двумя; а другая маленькая комната была только дополнением. В этих двух комнатах помещалось нас шестнадцать человек, причем, конечно, о кроватях и тому подобных удобствах нечего было и думать. Спали все вповалку на полу,

так что негде было, как говорится, яблоку упасть.

Но я забегаю вперед.

Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти, - и много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо... Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом - по классам, наконец, - на деревенских и заводских. Новичков было почти половина и, за исключением меня, - все малыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка.

Дореформенное духовное уездное училище\* делилось на три двухгодичных курса - низшее, среднее и высшее отделения. Высшеотделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их

оказалось человек шесть, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более что оба оказались из Демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом.

---

\* Дореформенное духовное училище - то есть до крестьянской реформы 1861 года.

- Наш брат мастерко, - говорил рябой мальчик, лет пятнадцати, с какими-то сорочьими глазами, со стоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. - Калены носки, жжены пятки, без подошв сапоги...

Другой, совсем молодой человек, с пробиравшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца и дядю. Ему было лет восемнадцать, и, как я потом узнал, он в каждом отделении проучился по четыре года и теперь приехал в высшее отделение на вторые два года, что в общем составляло двена-

дцать лет. Первого звали Ермилычем, а второго - Александром Иванычем.

Из деревенских выделялся прежде всего красивый, пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иваныч без церемонии называл "просвирней".

- Много летом-то просвир напекла, просвирня?

Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчаньем, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии - Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его, как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины...

## II

Мы несколько дней еще не ходили в классы, и я успел познакомиться с жизнью нашей квартиры. Мы поднимались в семь часов утра и получали по ломтю белого хлеба. Чаю не полагалось, и исключение представлял один я. Из самовара хозяйки я заваривал свой чайничек и пил один, что было очень неудобно и очень меня стесняло, потому что все осталь-

ные съедали свою порцию всухомятку. Раздавала хлеб сама Татьяна Ивановна, очень добрая и ворчливая старушка, причем выяснилось, что "любимчикам" она отдавала самые вкусные куски, именно - горбушки, а нелюбимчикам оставалось только завидовать. Впрочем, старушка руководствовалась главным образом отсутствием дурных поступков, и поэтому наш квартирный старший, Введенский, проявлявший строптивость и легкомыслие, получал горбушки реже, чем его подчиненные.

- А я ей покажу, старой карге! - ворчал он, придумывая разные школьные каверзы.

Обед был в два часа. Мы гурьбой отправлялись в маленький флигелек, где всецело царила Фаина Ивановна. Все усаживались за один стол. На шестнадцать человек подавались две чашки горячего - щи, лапша, похлебка. Это было очень немного, но повторения не полагалось. Вторым блюдом был картофель или каша, а иногда молоко. Во всяком случае, из-за обеда все выходили полуголодными и захватывали с собой корочки черного хлеба, которые потом поджаривали где-нибудь в

душнике печки, конечно, пополам с сажей. Особенно плохо доставалось по постным дням, когда на столе появлялись, главным образом, горошница, постные щи из крупы и похлебка из вяленой рыбы или сухих грибов. Вечером, в восемь часов, полагался ужин, уменьшенный по части питательности, сравнительно с обедом, на несколько градусов. У Фаины Ивановны все было рассчитано с математической точностью, и мы голодали порядочно.

...Кроме указанных выше подразделений на классы, давность учения и происхождение, выступило, конечно, основное деление, покрывавшее все остальные, - именно, деление на богатых и бедных. Положим, все за квартиру платили одинаково по четыре с полтиной в месяц, но богатство и бедность сказывались во всех мелочах, начиная с костюмов и кончая учебниками. Я принадлежал к богатым, как все поповичи. Но если моему отцу было трудно содержать меня в училище, то каково это доставалось несчастным дьячкам и пономарям, вытягивавшим из себя последние жилы, чтобы дать детям воспита-

ние. У этих бедняков, конечно, и белье было грубое, и костюмчики сшиты домашней рукой, и сапоги чуть не из моржовой кожи. А главную беду, после квартирной платы, составляли учебники, которые приходилось во всяком случае покупать на свои кровные нищенские гроши.

...Александр Иваныч держал себя с большим авторитетом, и, как я заметил, все другие подчинялись ему, за исключением одного Ермилыча, у которого был свой характер и которого, выражаясь по-школьному, нельзя было задевать, задирать и ячить - последнее слово исключительно бурсацкого происхождения и, вероятно, переделано из славянского глагола яти - брать.

Раз Ермилыч раскрыл свой сундучок, содржавшийся в величайшем порядке, и что-то перебирал из своих пожитков. Александр Иваныч наблюдал за ним и с своей обычной улыбкой спросил:

- А где у тебя капуста?

Вопрос, по существу, был самого невинного характера; но Ермилыч весь побелел от злости, вскочил и запустил сапогом в Алек-

сандра Иваныча. Очевидно, последний ожидал такого ответа и вовремя отклонился в сторону, сапог летел прямо к нему в физиономию. Ермилыч стоял с широко раскрытыми глазами и не мог выговорить ни одного слова, потому что весь трясся и его губы сводила судорога. Дело объяснялось тем, что у Ермилыча была школьная кличка Заяц, которой он не переносил и каждый раз приходил в бешенство. Тот же Александр Иваныч при всех совершенно безнаказанно мог называть Введенского - просвирней, а с Ермилычем шутить было опасно.

Прозвища и клички придумываются школьниками в большинстве случаев очень удачно, и у Ермилыча в складе лица действительно было что-то заячье. Так, у нас на квартире оказался ученик среднего отделения, которого называли Шиликуном, потому что у него была какой-то необыкновенной формы голова, конусом, и комическое выражение лица, а шиликун, по народной мифологии, что-то вроде комика при домовом...

Одним из остроумных прозвищ было то, которое носил инспектор нашего училища, -

его звали Сорочьей Похлебкой. Основанием для этой клички послужила привычка инспектора уверять, что он знает решительно все, что делается в недрах бурсы и на частных квартирах, а по народной поговорке про таких всезнающих людей говорят, что они ели сорочьи яйца.

### III

В течение этих первых дней мне пришлось познакомиться с положением настоящего новичка, с той жестокой школой, которую он неизбежно должен пройти. Лично меня такая выучка не коснулась, потому что я поступил сразу в высшее отделение и тем самым попал в привилегированное положение. Все новички проходят через целый строй горьких и тяжелых испытаний, но *alma mater*\* возвела их в настоящую систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь.

---

\* Alma mater (альма матер - кормящая мать) - старинное студенческое название университета.

В числе новичков, поступивших в низшее отделение, были два очень милых мальчика, двоюродные братья Протасовы. Один был постарше, Павел, второго звали Ваней. Этот последний был еще совсем ребенок, хорошенький, розовый, с детской полнотой и еще не утраченной наивностью, напоминающей утреннюю росу. Оба были поповичи, и при том состоятельные. Они были откуда-то с дальних заводов и во всем отличались от деревенских поповичей - чистенькие, вежливые, воспитанные. Вероятно, именно выдававшаяся культурность и вызвала то, что все как-то сразу отнеслись к ним с скрытой враждебностью.

- Ябедники, наверно, будут, - решил кто-то вперед.

Ябедник - это опасное слово при драконовских нравах бурсы, и я только впоследствии понял все его громадное значение. Достаточно одного подозрения, чтобы человек буквально погиб, как погибает безвозвратно про-

каженный. Бурса тысячью средств дойдет его и уничтожит. Спасенья не могло быть. Именно с этого рокового подозрения и начались бедствия маленьких новичков. Составился целый заговор. Введенский о чем-то шептался с Ермилычем и Шиликуном, а последний входил в какие-то таинственные сношения с деревенскими новичками. Паша и Ваня, предчувствуя беду, жались один к другому, как пойманные зверьки.

- Два сапога - пара, - сурово заметил Ермилыч, отличавшийся вообще строгостью характера.

Травля началась систематически и, вероятно, по способу, постоянно практиковавшемуся всей бурсой. Один из деревенских новичков подходит и говорит:

- Давайте поиграем...

Приличные мальчики переглядывались и старались уклониться от любезного предложения.

- Мы не умеем играть... - отвечал Паша, который был побойчее.

- Как не умеете? - удивлялся Шиликун. - Это вы притворяетесь... В городки умеете?

Мальчики переглядываются и, ввиду такого невинного предложения, соглашаются. Игра в городки - самая невинная, по существу, детская забава. Берутся пять и больше небольших, гладких камушков, которые укладываются в руку. Один камень бросается вверх, и, пока он летит, игрок должен из лежащей перед ним кучки взять сначала один камень, потом другой и т.д., до тех пор, пока все камни будут в горсти. Это и есть "взять городок". Следующий номер, - берут камни по два, потом по три и, наконец, нужно схватить все разом. Игра очень несложная и не требующая особенного искусства. Но бурса ухитрилась сделать из нее настоящую пытку.

Паша оказался искуснее деревенского новичка и обыграл его. Тогда его место заменил Шиликун, оказавшийся настоящим мастером своего дела. Другие следили за игрой с замирающим сердцем, а в качестве знатоков дела, решающих, кто остался победителем, присутствовали Александр Иваныч, Введенский и Ермилыч.

- Кончен бал! - провозгласил Ермилыч с какой-то особенной радостью. Ну, Шиликун, по-

кажи ему, как нужно играть...

Теперь началась расплата за проигранную партию. Паша должен был положить руку ладонью вниз рядом с камушками. Шиликун бросал камень вверх и во время его полета успевал пребольно ущипнуть руку Паши, так что она сейчас же покрылась синяками и вспухла.

- А, что? Славно?! - с злорадством спрашивал Александр Иваныч, заглядывая в покрасневшее от боли лицо Паши. - Видишь, какой неженка...

Следующим номером было новое истязание: Шиликун при бросании камушков стал щипать вспухшую руку продолжительнее, сильнее, так что показалась кровь.

- Ай да Шиликун... Молодца!.. - хвалил кто-то.

У бедного Паши показались слезы на глазах, и это его окончательно погубило в глазах всей публики.

- Да он пойдет ябедничать! - крикнул кто-то.

- Закати ему горячих, Шиликун! - поощрял Введенский, приходя в азарт. - Таких плакс

надо учить...

Введенский ни с того ни с сего ударил Пашу и задыхавшимся голосом спрашивал:

- Пойдешь ябедничать... а?.. Ведь пойдешь?!

Еще и еще удар, и посыпались удары, что заставило Александра Иваныча удушливо хотеть до слез. Сцена получилась самая отвратительная.

- Я сам кончу! - решил Введенский, занимая место Шиликуна.

Последнее истязание заключалось в том, что один камень за другим клали под руку Паши, и Введенский во время полета камня бил по ней кулаком.

Извиняюсь перед своими маленькими и большими читателями за описание подобных жестокостей, которым нет счета, как нет границ суровой изобретательности в этом направлении. Мне приходится описывать подобные отвратительные сцены, чтобы дать понятие, что такое была старая жестокая школа, и чтобы нынешние дети поняли и оценили по достоинству высокий гуманизм новой школы. Все вещи познаются по сравне-

нию...

Меня глубоко возмутила эта игра в городки, а больше всего бессердечное поведение Александра Иваныча, которому стоило сказать одно слово, чтобы прекратить все. Я даже не мог говорить с ним, а обратился к Ермилычу. Но Ермилыч сначала долго не мог понять, что я ему говорил, потом изумился и, наконец, рассердился.

- Тебе надо было дома оставаться да на печи сидеть, - заявил он. Когда мы были новичками, так не то еще бывало... Это еще цветочки, а ягодки впереди.

- Какие ягодки?

- А такие... Каждого новичка вот как нужно учить. Не в бабки приехали играть... Вырастет большой - сам других будет учить. Александр Иваныч четыре года просидел в низшем отделении, так спроси его, как его учили. Получше нынешнего... Поучат - человеком будет.

Ермилыч говорил вполне убедительно, как человек, который верит в собственную правоту. Меня удивило больше всего то, что Ермилыч терпеть не мог Александра Иваныча и еще только на днях запустил в него сапогом, а

теперь вполне согласен с ним. Мало этого, Ермаилыч передал наш разговор Александру Иванычу и Введенскому, которые жестоко осмеяли меня. Дальше случилось так, что мое слабое заступничество послужило только во вред новичкам, и Введенский нарочно при мне старался над ними проявлять свою власть старшего, причем Александр Иваныч считал почему-то нужным хохотать до слез.

- Ну-ка, Илья, дай еще горячих! - поощрял он расходившееся начальство. - Да по носу не бей, а то пойдет кровь...

Введенский дрался артистически, как человек, который сам прошел всю школу битья.

#### IV

Накануне первых классов в нашей квартире были открыты первые "занятные часы", которые начинались в пять часов и кончались в восемь. Введенский сразу явился в роли строгого начальства. Наше высшее отделение занимало маленькую комнату, а среднее и низшее устроились в большой. Введенский завел квартирный журнал и заносил первый день, что в квартире обстояло все благополучно. Ему нравилась каждая мелочь, которая выяс-

няла его положение. В "занятные часы" ученики должны были вставать, когда он что-нибудь спрашивал. Из усердия Введенский сделал самый строгий осмотр книг, тетрадей, карандашей, перьев и всех остальных канцелярских принадлежностей, причем всячески придирался к Паше и Ване, хотя у них все было в порядке.

- Вы у меня смотрите, - пригрозил им Введенский уже решительно без всякого основания.

Увлечшись своей ролью, он хотел проделать то же самое и с нами, но Александр Иванович показал ему кулак и проговорил:

- А это хочешь? Я тебе покажу такого старшего, что небо с овчинку покажется.

Ермилыч пообещал что-то в том же роде, и Введенский сосредоточил свое внимание на двух низших отделениях, причем произвел настоящий экзамен по всем предметам. Он особенно налег на пение, вероятно, потому, что сам пел хорошо и не сбивался "на гласах".

Из-за этих "гласов" произошла настоящая битва. Введенский поймал именно на них несчастных заводских поповичей. Посыпался

цельный град ударов.

- Ну, глас четвертый?!. - орал Введенский, как, по его мнению, должно было орать всякое настоящее начальство.

Бедному розовому Ване особенно досталось. Со страха он перепутывал все гласы и должен был петь, когда задыхался от слез. Введенскому было мало самоличного битья, и он устроил настоящее издевательство, заставляя по очереди Пашу и Ваню бить друг друга.

- Вот тебе глас первый! - кричал он, поощряя несчастных детей. Пашка, валяй его по второму гласу... Прибавь еще глас третий... Так и поется:

Била меня мати за пя-а-атый глас.

Все гласы, на которые пелось "Господи, воззвах к тебе, услыши мя", заучивались, как солдатские сигналы, по особым присловиям, как третий глас. Седьмой глас пелся так: "Летела пташечка по ельничку, напали на нее разбойнички и убили ее". По части этих гласов я оказался слабоватым и помню, мне почему-то никак не удавался второй глас. Вообще, заводские поповичи были в пении гораздо слабее деревенских, которые у себя дома

постоянно помогали отцам при церковной службе с раннего детства.

Мне пришлось видеть только часть сцены обучения пению на гласы, потому что Ермилыч затворил двери нашей комнаты и, перемигнувшись с Александром Ивановичем, полез в свой сундучок. Оказалось, что в сундучке Ермилыча был устроен потайной ящичек, в котором, как запретный плод, хранился табак. У Александра Ивановича папиросы прятались в корешке латинского словаря.

- Ермилыч, действуй... - шептал Александр Иванович, становясь на часы к дверям.

Ермилыч поставил табурет на свой сундук, открыл в печи душник и, раскурив крючок, набитый табаком, жадно припал с ним к душнику. Он затягивался до слез, пока не закружилась голова. То же проделал и Александр Иванович со своей папиросой. Курение табаку подвергалось строгому преследованию со стороны начальства, и курильщики рисковали познакомиться с роковым расчетом в субботу, когда Сорочья Похlebка немилосердно сек лентяев, курильщиков и нарушителей школьной дисциплины вообще. Но страх на-

казания никого не удерживал, и курили все, кто только хотел. Риск только придавал особую приятность наслаждению табаком. У нас на квартире курили трое, а Введенский еще нюхал табак.

- Ух, хорошо! - повторял Александр Иванович, глядя кругом осовелыми глазами. - Только бы не узнал инспектор...

- А зачем он сам курит?..

V

Знакомство мое с настоящей бурсой произошло только с открытием классов. Помню сцену, которая разыгралась в первый же урок, когда в класс явился грозный инспектор. Это был еще молодой высокого роста священник с красивым, матовым лицом и целой волной темных вившихся волос. Он ходил какой-то особенной, развалистой походкой и смотрел как-то сразу в лицо тому, с кем говорил. Войдя в класс, он окинул его инспекторским глазом и поманил кого-то пальцем. Из-за парт поднялась взъерошенная фигура. Инспекторский палец продолжал манить, и взъерошенная фигура подошла, остановившись "на приличном расстоянии". Мне ка-

жется, что это фигуральное выражение нигде не было так применимо, как именно в данном случае.

Произошла короткая, но выразительная сцена.

- Курил опять?

- Ей-богу, нет!..

- А, не курил?! Дохни!

Инспектор наклонился, и взъерошенный бурсак дохнул ему прямо в нос.

- Крепчайший табак, - определил инспектор, и взъерошенный субъект как-то разом полетел на пол, точно его сдуло ветром...

Дальше пошло избиение, - таскание за волосы. От волнения инспектор сделался еще бледнее, а темные большие красивые глаза сделались еще больше и темнее. Эта сцена произошла на моих глазах около тридцати лет тому назад, и я до сих пор не могу ее понять... Собираясь в первый раз в классы, мы на квартире делали особенные приготовления. Старые ученики отламывали по кусочку от утренней порции белого хлеба и прятали их по карманам. Исключение представляли из себя Александр Иваныч и Ермилыч. Павел

Иваныч Хвост объяснил мне, что эти кусочки - дань голодной бурсе. Действительно, когда мы пришли в свой четвертый класс, нас обступила целая голодная бурсацкая толпа, одетая в какие-то длинные серые пальто. Голод - ужасная вещь, и кто видел взгляд голодного человека, тот никогда его не забудет. Бурсаков было всего человек пятнадцать в нашем классе, но это была сплоченная и организованная толпа. Каждый делал себе свободный выбор из среды квартирных учеников, которые являлись в роли овец, "стригущему их безгласных". По совету Павла Иваныча я, на всякий случай, имел кусок утренней порции, который меня страшно смущал, потому что хотя я и сам был голоден, но с удовольствием отдал бы первому голодному бурсаку.

Произошла такая картина. На меня сразу обратил внимание среднего роста бурсак с какой-то серой физиономией, кажется, присвоенной всем бурсакам. Он в один миг взвесил своим взглядом, что я - новичок, трус и жертва для его аппетита.

- Хлеба! - отрывисто проговорил он, протягивая руку. - А то будут чиканцы...

Есть ничтожные, но решительные моменты в жизни каждого человека. Я уже готов был отдать свою дань смельчаку (его прозвище - Тетеря, потому что он имел несчастье обладать длинным носом, - признак, который бурса, вопреки Брему, относила к разряду куриных), но в этот критический момент на выручку ко мне неожиданно явился другой бурсак, Николай Постников, и проговорил с решительным видом:

- Калю!..

На бурсацком языке слово "калю" имело такое же значение, как на языке полинезийцев слово "табу", то есть кто произнес его, тот и сделался неприкосновенным собственником той вещи, над которой было сказано магическое слово.

Мне приходится сделать маленькое отступление. Все воспоминания, хотя они и ведутся в хронологическом порядке, страдают некоторой непоследовательностью. Так и в данном случае я должен вернуться к своему сиденью в селе Аятском, где я случайно познакомился именно с этим Николаем Постниковым, одним из типичнейших бурсаков. Он

приходил к моим огуречникам, и мы познакомились. Особенного ничего в этом знакомстве не было, и помню только испытующий и взвешивающий взгляд старого, опытного бурсака, когда он узнал, что я еду учиться в духовное екатеринбургское училище.

Вероятно, на основании этой случайной встречи, Постников и "закалил" меня в свою собственность, как данника. Нужно было видеть выражение лица Тетери, когда лакомая добыча ускользнула у него из рук... Потом, когда Тетеря несколько раз пытался отомстить мне, Постников неизменно выручал. Я думаю, что тут дело было не в том кусочке хлеба, который я ежедневно ему приносил, а именно в нашей встрече в Аятской. Постников любил вспоминать о ней, и у него делалось совершенно другое лицо, когда он говорил:

- А помнишь Аятское село? Отличное место... Огуречники-то, с которыми ты ехал, тоже из духовного звания...

Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аятское село, как обетованную землю, - это была последняя дань родине. Никакая

бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.

В течение первого же дня определился состав нашего класса, распадавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую - квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.

- Иди сюда, - предложил мне высокий рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. - Я знал твоего брата...

Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась "Камчатка". Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке - Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.

- Моя фамилия - Хлызов, - рекомендовался товарищ моего брата.

Первый урок был катехизис, и все замерли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:

- Ступай, жалуйся!..

Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я укрепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что, когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:

- Это мой ножичек... Твой брат взял его у меня на подержанье. Одним словом, калю...

Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.

## VI

...Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга.

Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задира́ть квартирных и с первого же раза "нарвался" на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:

- Не подходи, - убью!..

- Ну, убивай, - добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.

Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу...

- Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, - говорил в нос Масталыга.

Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.

Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за

своей партией и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и "задирали". Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сторбленный, худой, с каким-то неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей партии одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стараясь защитить лицо рунами. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, - бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.

- Будешь помнить заячьи уши... - хрипло шептал он.

Атрахман был посрамлен. Бурее сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих

первых бойцов. В резерве оставался главный силач Демьяныч, во он не желал принимать никакого участия в задиранье квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирали Демьяныча.

После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решила выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплоченность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.

- Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..

- Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся... Ай да Галуппи, молодец!..

Галупши, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: "Так его и надо..." Всего интереснее было то, что Александр Иванович, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал...

Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои молодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности... Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила.

...Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах - тринадцатилетние мальчишки, с одной стороны, и двадцатилетние парни с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид

школьного рабства.

## VII

Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника отца Петра, и инспектора училища отца Константина. Ректор иногда посещал классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем - субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых... Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних уроков с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и от-

правлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.

В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.

Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь, инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:

- А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.

Может быть, эта нелюбовь к инспектору происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую

грозу, - за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.

...Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель греческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, сейчас вопрос:

- А как перевести эту фразу?

Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог

должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.

В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогика стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бурсацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смысленный и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной "мачимачихой". Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают

некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.

...Из всех предметов училищного курса мне не давался один "Устав церковной службы", как я его ни зубрил. Происходило это оттого, что я, вероятно, по настоящему не умел зубрить, а главное - не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как "препразднство" и "попразднство".

## VIII

Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.

Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Введенский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точ-

но копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это - с одной стороны, а с другой - наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлечшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только умеют изменять люди подобного рода, и выдал Введенского с годовой.

- Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Провирню, - поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. - Валяй, но чтобы синяков не было...

И Ермилыч "утешал" Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.

Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, - и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества... Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погуби-

ло.

- Тебя били, Алферов? - спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.

Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:

- Меня уж давно бьют...

- Очень бьют?

- Нет, хуже, чем бьют.

Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Находились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой - вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия... Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших при-

знаков побоев.

...Да, дни шли медленно и тяжело. В течение какого-нибудь месяца я сделался совсем другим человеком, и мне начинало казаться, что недавнее прошлое отодвинулось далеко-далеко, и что я - уже не я. На меня находили минуты самой тяжелой тоски, и я даже старался не думать о милом прошлом, о Висиме, о родных и знакомых. Но нет такого скверного положения, в котором не было бы своего утешения или надежды. У всякого из нас были заведены "деньки", то есть разграфленнная записочка с обозначением всех дней до рождества. Каждый день вечером каждый с великой радостью вычеркивал один денек из своей жизни. Только бы дотянуть до рождества, - дальше этого мечты не шли. Даже бурсаки, которым некуда было ехать на рождество, и те имели "деньки" и также вычеркивали один за другим. Время являлось самым страшным врагом...

У меня тоже были "деньки", и я высчитывал вперед, что мне в течение двух лет придется отбывать около шестисот училищных дней.

## КАЗНЬ ФОРТУНКИ

I

Как это было давно и как я отчетливо вижу сквозь мутную полосу десятков лет это воскресное роковое утро, заливавшее ярким солнечным светом нашу ученическую комнату!

Нужно идти в церковь к обедне\*, и все чистятся, вынимают лучшее свое платье, причешаются и вообще принимают соответствующий празднику вид. Мой приятель Ермилыч с особенно торжественным видом открывает крышку своего заветного сундука, наклоняется над ним, чтобы достать что-то, - и в ужасе поднимает свое помертвевшее, бледное лицо. Что-то случилось, ужасное и непоправимое, что и меня заставляет невольно содрогнуться, потому что я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и знаю, что он из-за пустяков не побледнеет.

---

\* Обедня - богослужение в церкви перед обедом.

- Ермилыч, голубчик, что такое случилось?  
Ко мне повертывается это бледное лицо,

покрытое мелкими веснушками, серые глаза смотрят непонимающим, пустым взглядом, а искривленные конвульсией губы шепчут только одно слово:

- Сапоги...

Я наклоняюсь к сундуку Ермилыча и тоже проникаюсь ужасом. Нужно сказать, что этот сундук представляет собой некоторое художественное целое благодаря царившему в нем порядку. Ермилыч был бедняк, и сундук для него являлся величайшим сокровищем. В нем были разложены в истинно художественном порядке все пожитки Ермилыча: белье, праздничный сюртучок, книги, тетрадки, коробочки с разными редкостями, таинственные свертки и опять коробочки, в которые домовитая бедность укладывала разный хлам. Самое видное место занимали в сундуке Ермилыча новенькие смазные сапоги - его гордость и слабость. Это были первые сапоги, которые Ермилыч мог чистить ваксой, примеривал, сдувал с них каждую пылинку, обтирал платком и надевал только по праздникам. Чтобы купить их, он целый год сколачивал деньги по копейкам и грошам, отказывая

себе решительно во всем. Когда Ермилыч доставал их из своего сундука, его лицо светлело и делалось таким добрым. И вдруг... Нет, есть вещи, для описания которых просто недостает подходящих слов, как и в данном случае. Прошло больше тридцати лет, а я и сейчас отчетливо помню, как мне сделалось страшно: сапоги Ермилыча были налиты водой...

- Это устроил Фортунка! - невольно вырвалось у меня.

Ермилыч молчаливым движением подтвердил мое предположение. Конечно, Фортунка, и никто больше.

Нужно сказать, что наш старший по квартире, Введенский, имел две школьные клички: одна для обыкновенного обихода - Провирня, а другая в исключительных случаях - Фортунка. Последняя кличка носила собирательный характер и давалась почему-то пухлым и толстым мальчикам, каким был и наш Введенский.

Когда квартира узнала историю с сапогами, то для всех сделалось ясно, что дни Фортунки сочтены, и все смотрели на него, как на

человека обреченного. Хихикал и потирал руки один Александр Иваныч, раньше покровительствовавший ему. Самые маленькие школяры понимали, что Ермилыч будет мстить и что Фортунке несдобровать. Сознал это и сам Фортунка, чувствовавший, что зарвался и что лихая шутка не пройдет ему даром. Одним словом, произошло целое событие, взволновавшее до дна наш маленький мирок. Все шептались по углам и с сожалением поглядывали на Фортунку, прикрывавшего свою трусость самым беспечным видом. Он даже отдувал свои жирные, мясистые щеки и вытягивал красные губы, как человек хорошо пообедавший.

- Ермилыч, ведь ты будешь ему мстить? - спрашивал я.

Ермилыч только улыбался своей больной улыбкой. В его характере была мстительная жилка. Иногда он выжидал целых полгода, чтобы расквитаться с врагом, и, подкараулив удобный случай, производил безжалостную расправу. Лично я очень любил Ермилыча, как хорошего товарища. Нас связывало и землячество, и сидение в одном классе, и та до-

полняющая разница характеров, которая служит основой школьной дружбы. Бывали, конечно, и недоразумения, тоже школьного характера. Один случай меня даже озадачил, и я никак не мог его понять. У меня был такой же сундук, как и у Ермилыча, и я, по его примеру, вел в нем строгий порядок, хотя и не мог достигнуть желанного совершенства. Между прочим, была у меня коробочка с разной дрянью: пуговицы, перья, карандаши, какие-то обломки и т.д. Сказывалось недавнее детство, утилизовавшее этот материал для своих детских целей. Сейчас этот хлам оставался только по традиции. Раз я разбирал эти сокровища на столе, а Ермилыч смотрел в качестве почтеннейшей публики.

- Вот посмотри, какая пуговица: золотая с орлом...

Не успел я похвастаться, как Ермилыч самым бессовестным образом отнял ее у меня.

- Калю! - заявил он с самым решительным видом.

"Калю" это было своего рода школьное "табу", лозунг царившего права сильного. Как я ни уговаривал Ермилыча, какие трогатель-

ные мотивы ни представлял ему, как ни объяснял, что чужие пуговицы отнимать гнусно, он точно окаменел, охваченный какой-то птичьей жадностью. Оставалось или вступить в отчаянную драку, или порвать цепь дружбы, но я предпочел уступить пуговицу, хотя в душе и затаил неприятное чувство. Меня огорчало до глубины души, что это сделал именно Ермилыч, хороший человек и друг. И все из-за какой-то гадкой пуговицы... Сделай это Фортунка, - ничего в этом особенного не было бы. Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?

## II

Вся наша квартира с нетерпением ожидала развязки нанесенного Ермилычу оскорбления. Меня этот вопрос особенно касался, потому что для меня Ермилыч был слишком близкий, почти родной человек. Положим, что сапоги давно высохли, были вычищены

ваксой десятки раз в заняли свое место в сундуке, но это не мешало оставаться оскорблению в прежней силе.

- Что ты сделаешь с Фортункой? - спрашивал я друга.

Ермилыч сначала скромно отмалчивался, а потом показал тяжелую свинцовую гирьку, обшитую кожей, - это и было орудие казни.

- Да ведь такой гирькой можно и убить, Ермилыч?

- По какому месту бить...

У Ермилыча делалось каждый раз нехорошее лицо, когда он заговаривал о возмездии. Мне вперед делалось страшно за Фортунку.

- Вот будет рекреация\*, так тогда... - таинственно сообщил Ермилыч, любуясь своей гирькой, у которой делались разные усовершенствования, как тонкая бечевка, наматывавшаяся на руку.

---

\* Рекреация - промежуток времени между уроками, перерыв занятий.

Стоял конец мая, и погода была прекрасная. Все зеленело и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью... И в то

же время близились страшные экзамены с роковой быстротой. У меня навсегда сохранился какой-то панический страх к экзаменам, доходивший до того, что я уже студентом упал на экзамене в обморок. Из всех лотерей экзамены самые рискованные, и я с сожалением смотрю каждой весной на молодежь, которая должна выносить это испытание. Я уже сказал, что погода стояла отличная. Один день шел за другим, как праздники. Сидеть в такие дни в классе было настоящей пыткой. Даже наш суровый инспектор не выдерживал и раз пошутил. Да, пошутил, повергнув весь класс в полное недоумение. Как теперь помню, шел класс латинского языка, самый страшный из всех, потому что он, главным образом, доставлял жертвы субботних экзекуций. Сторож поляк Палька только потирал руки, предвкушая удовольствие производить "великолепнейшие порки". Итак, шел класс латинского языка. Все замерли. Слышно, как муха пролетит, в буквальном смысле слова. Окна отворены, и в них смешанной струей врываются звуки колоколов соседнего женского монастыря, крики уличных разносчиков, дребезжанье проез-

жающих экипажей и вообще уличный шум. Инспектор сидит, согнувшись, в кресле и, по своей привычке, кусает ногти большой холерной, белой руки. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоят Александр Иванович и еще несколько учеников.

- Ну? - лениво протягивает инспектор. - Sat, satis, abunde, affatim?

- Довольно, достаточно... - залпом выстреливает Александр Иванович вызубренный урок.

- Нет... Ну, ты, рядом стоящий? Sat, satis, abunde, affatim?

- Довольно, достаточно...

- Эх вы, и этого не знаете! Sat, satis, abunde, affatim значит: "Сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим"...

Весь класс замер от изумления, а потом разразился таким весельем, что, кажется, смеялись самые стены. На другое утро, когда все собрались, волнение продолжалось.

- Надо просить рекреацию!

Выбрана была депутация из лучших учеников, в том числе был и Фортунка. Они заранее приготовили установленное прошение на

латинском языке и отправились на квартиру к ректору, находившуюся тут же на дворе. Все училище замерло в ожидании: что-то будет... Все окна, выходящие на двор, были облеплены любопытными школьническими лицами. Наконец после томительной четверти часа на крылечке ректорского флигеля показалась депутация.

- Рекреация! Рекреация!.. - пронеслось по всему училищу.

Бывают минуты, которые не повторяются в жизни, и именно теперь была такая минута. Двести школьников, измученных тяжелой годовой работой, потеряли голову от радости. Что-то происходило до того невероятное, радостное, хорошее, чудное, как радужный, молодой сон. А впереди - целый день, счастливый, единственный день.

Утро было в самом начале, а там до самого вечера в лесу, на открытом воздухе, - нет, такие минуты не повторяются. Дальше все идет в каком-то тумане. Все заведение охвачено неопишуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в простую телегу, а злодей Палька нагружает эту телегу

какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной двасторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня. Милый Палька... Ему сейчас отпускаются все его невольные прегрешения и даже роковые "субботы". Лошадь с телегой и Палькой отправляются вперед, в ту неведомую, счастливую даль, которая грезится нам в каком-то радужном сиянии. Потом мы все выстраиваемся попарно в длинную шеренгу под предводительством старших. Порядок образцовый. Никому и в голову не приходит нарушить его. Господи! да ведь такой день один, один, один!.. Для меня это еще первая рекреация, и воображение рисует что-то необыкновенное, сказочное, невозможное. Каждый чувствует, что он органическая кровная часть вот этого громадного целого, и как дороги все эти товарищи по классу, по училищу, по общей учебной каторге. В каком-то тумане наша шеренга марширует по деревянным тротуарам пыльной городской улицы, вызывая зависть всех прохожих. Да, все останавливаются, провожают нас глазами и улыбаются, зараженные нашей радостью. Чинов-

ники, плетущиеся на свою службу, знают, что значит этот молодой поход, и вспоминают свое время; мещане, старушки с лотками, извозчики - все знают и все сочувствуют в душе. Нужно же бедным школярам передохнуть хоть один денек... Вот и предместье, всегда грязное, даже в самую хорошую погоду; вот и городской выгон, и сосновый лесок, и река, и ряд заимок на ней. С трактовой дороги мы сворачиваем влево, переходим по какому-то деревянному мосту через реку и точно приступом берём первую лесистую горку. Как хорошо здесь: сколько света, воздуха, зелени, красок, и все это наше на целый день, которому не будет конца! Ведь перед нами не день, а целая вечность!.. Благословенный, счастливый день! В припадке нежности мы беремся с Ермилычем за руки и так идем всю дорогу, точно боимся, что который-нибудь от радости вспорхнет и улетит. В задних рядах кто-то затянул популярную в нашем училище старинную песню, которую, вероятно, певали еще наши отцы, путешествуя на рекреации:

"Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь..."

В общем хоре выделялся и молодой, с петушиными перехватами, басок Александра Иваныча, и залиvistый тенорок Фортунки, и немного надтреснутый голосок слабогрудого Ермилыча, - это была одна оркестровая нота, поднимавшая всех от земли. Дорога шла по левому высокому берегу реки Исети, путаясь в сосновом бору. Душный и пыльный Екатеринбург остался позади, а впереди уже начались так называемые "заимки", то есть громадные дачи с разными промышленными заведениями, как салотопни, мыловарни, кожевни. Верстах в пяти от города левый берег выступал в реку красивым лесистым мыском с большой, зеленой каймой поемного луга; это и было место нашей рекреации. Издали мелькнул большой костер, разложенный Палькой, а около него уже выросла целая ставка: наша училищная кухня, потом палатка приехавшего из города мелочного торговца, потом столики торговки кислыми щами, калачами и разной другой дрянью, на которую так падки дети. Одним словом, нас ожидало полное великолепие.

- Форменно, - заявил Ермилыч тоном спе-

циалиста, издали разглядывая и место, выбранное под рекреацию, и сделанные для нее приготовления.

Скоро весь мысок запестрел детьми, как муравейник, а в лесу гулко отдавались звонкие, молодые голоса. Экзекутор Палька с отечески-добродушным видом возился около огня, точно никогда не брал в руки ужасной лозы. Его обступили со всех сторон, дергали за казенную шинель и вообще надоедали самым добросовестным образом, как это умеют делать только одни дети.

- А ну вас! - ворчал Палька, отмахиваясь обеими руками. - Ужо скажу инспектору.

Скоро приехал и сам грозный инспектор в сопровождении нескольких учителей: учитель греческого языка Николай Александрович, учитель русского языка Григорий Алексеевич, учитель географии и арифметики Константин Михайлович. Первые двое были еще совсем молодые люди, цветущие и веселые, а третий такой болезненный и чахоточный субъект. Они приехали на двух извозчиках, занявших своими экипажами задний план нашего гулянья, что дополняло поход-

ную декорацию.

- Здравствуйте, господа! - весело здоровался инспектор. - Ну, сегодня мы будем веселиться напропалую...

О, это был совсем другой человек, какого мы совсем не знали! Неужели он, вот этот самый инспектор, мог устраивать свои "субботы"?.. Нет, все это один блаженный, счастливый сон, какие видишь только в ранней юности. Учителей мы любили, хотя они и донимали нас подчас, как самый веселый учитель греческого языка.

### III

Описать рекреацию во всех подробностях довольно трудно, потому что целый летний день прошел в удовольствиях: дети играли, пели, лакомились и опять играли. Тут был и мяч, и свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и "куча мала", и хоровое пение. Инспектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. Шло соревнование по классам, отделениям, по квартирам, причем наша квартира, благодаря Александру Ивановичу, Фортунке и Ермилычу, заняла по части физических

упражнений не последнее место. Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял и ученический хор. Одним словом, с одной стороны были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой - взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью.

Инспектор устал раньше других и лежал на траве. Около него сидел наш квартирант Ваня, любимец всех учителей за свою кротость, хорошие способности и детскую красоту.

- Ну, спой что-нибудь, Ваня, - ласково говорил инспектор. - А то давай вместе споем.

Сначала мальчик стеснялся, а потом тоненьким детским дискантиком спел "Звездочку":

Звездочка ясная в небе горит,  
Душу, прекрасная, в небо манит...

Помню и эту детскую песенку, и детский, чистый голосок, и это хорошенькое, чистое детское личико с такими светлыми, ясными глазами, подернутыми влажной детской си-

невой: в них еще не остыла теплота раннего детства. Ровно через год Ваня умер у нас на квартире от тифа, умер на том самом диванчике, на котором вылежал я свои шесть недель.

Самый торжественный момент наступил, когда были раскупорены таинственные белые ящики, и в толпу полетели пригоршни дешевых пряников и конфет. Поднялись такой гвалт и свалка, что продолжать это слишком шумное удовольствие не было возможности, и остатки сластей были розданы прямо на руки. У всех радостей - один общий недостаток: они слишком быстро проходят. Наша рекреация пролетела с самой обидной быстротой, и не успели мы даже устать хорошенько, как солнце уже село за зубчатую стену леса, и наступили сумерки. Костер Пальки потушал, палатка торгоша была сложена, торговки укладывали пустые ящики и бутылки на свои тележки, одним словом, пир был кончен. Раскрасневшиеся, счастливые детские лица все еще были полны веселой энергии, а наступила пора возвращаться домой. Я только теперь вспомнил, что именно сегодня должна была

совершиться давно ожидаемая казнь Фортунки и, конечно, она будет произведена в сумерки, когда пойдем врассыпную домой. У меня даже сжалось сердце от страха... Веселившийся Ермилыч принял угрюмый вид. Фортунка съежился, присмирел и не отходил от Александра Иваныча, - он предчувствовал, что его час настал.

- По домам! - скомандовал инспектор.

Все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские "субботы", и зубренье, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения... Люди были людьми, - и только.

...Итак, мы возвращались в город. Школьники шли вольно, врассыпную, как солдаты

после учения. Наша квартира отстала, особенно старшие ученики. Фортунка ни на шаг не отставал от Александра Иваныча, пугливо озираясь на Ермилыча. В одном месте, где дорога шла лесом, мы совсем отстали, и все как-то инстинктивно остановились. Александр Иваныч достал папиросу и, раскуривая ее, проговорил с равнодушием сучавшего деспота:

- Ермилыч, а ты позабыл про сапоги?

Этой фразой он выдавал Фортунку Ермилычу. Как настоящий восточный деспот, Александр Иваныч хотел потешиться на счет своего фаворита, чтобы закончить счастливый день достойным образом. Фортунка рванулся было, чтобы бежать вперед, но Александр Иваныч его остановил.

- Куда? Воду в сапоги умеешь наливать? Ха-ха... Ермилыч, казни его.

Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожиданное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко

в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть.

- Ермилыч, ты что же это? - подзадоривал его Александр Иванович.

Но Ермилыч уже шагал вперед разбитой походкой и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой:

- Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..

Это была наша последняя рекреация. Наступила школьная реформа, новые порядки и новые люди.

## КОНЕЦ ПЕРВОЙ ТРЕТИ

### I

Первая учебная треть, то есть время до рождества, - самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги... По крайней мере лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни род-

ных зеленых гор, ни дорогих родных людей...  
Время точно остановилось, а последний, четвертый месяц доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло. Прибавьте к этому еще рождественский шестинедельный пост, когда наше питание сводилось на форменную голодовку.

Итак, наши "деньки" убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный путь, давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах... У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшиеся во славу родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездов.

ки на рождество. Ведь целые две недели провести дома, а это, как известно, целая вечность.

Последние две недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Ивановичем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне до Висима. Предстояло сделать зимним путем верст полтораста, с двумя ночевками в дороге, но все это были, конечно, пустяки, а только бы ехать домой.

Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши "занятные часы". Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия неменяемого характера. Помню, как Ермилыч все "занятные часы" проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить.

- Ты лучше его отдай мне, - говорил Александр Иванович в качестве аккуратного человека. - Деньги плачены...

Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новые карандаш, по лестнице слышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная, высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. Да, это был он, тот самый, который делал нас свободными.

Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали, точно прищельца с того света, и засыпали вопроса-

ми. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам.

- Идите к нам... - тащили его в разные стороны.

Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за "великовозрастие" или "древоголовие". Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства.

- Ну, здравствуй!.. Учишься?

- Учусь...

Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца.

- А я того... - бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. - Я в духовное правление... с отчетом... ну, значит, того... раньше приехал.

Он присел на один из сундуков и улыбался. Школяры окружили его живой стеной.

Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых, свежих голосов.

После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ.

На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали, - а вечером кто-то нарочно прибегал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость, именно, что отец нашего Павла Иваныча Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить.

- Что же делать, в бурсу поступишь... - как-то виновато повторял дьячок. - И в бурсе люди живут.

Утешение было плохое.

## II

Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье-нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину: вы садитесь обедать. Вы работали целый день — значит, обед вами заработан, и вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть, их несколько? Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы несколько не виноваты, что эти дети голодны, и все-таки почувствуете себя как будто виноватым и не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами.

Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, голодная бурса, которой реши-

тельно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты бурсака... Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую "занятную", где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланное равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил:

- Гостинцев привезешь?.. а? Привезешь? Смотри, всю рожу растворю, зуб на зуб помножу...

Бедный Тетеря, мне было и жаль его и как-то совестно. Лучше бы уж он ударил меня...

Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большею частью - простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что

получила к празднику кое-какие дары, главным образом - по части деревенской живности.

- С заводских-то немного получишь, - проворчала она по нашему адресу. - Хоть бы углей на самовар привезли...

- Ишь, старая карга\*, чего захотела! - ругался Ермилыч. - Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем... Нашла тоже: углей ей привези.

---

\* Карга - по-татарски - ворона. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной радости. Деревенские мужики в свою очередь относились к нам, как к живой клади, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город.

Да, все подводы были налицо, и не было только нашей подводы с Александром Ивановичем, что повергло нас в молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы

нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала... А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу, могли по дороге напасть разбойники или волки, - все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иванович заявил:

- Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти... Я пойду искать его по постоянным дворам. Некуда ему больше деваться...

Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз. Но это нас не удержало. Мы побежали в Лягушку, как называлась улица, где были постоянные дворы, и сделали обход. Заблудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии.

- Я этого дурака вот как вздую, - ругался Александр Иванович, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру.

А в нашей передней на каких-то узлах сидел сторбленный, худенький мужик с козли-

ной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор: Илья Бушин, из деревни Захаровой, от которой до Висима всего восемь верст.

На другой день утром мы получили от инспектора отпускные свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором... Даже галки на крышах кричали как-то иначе, и дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались всё удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть, а на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбой и говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучше и совершеннее на свете были наша дорожная кошевка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совер-

шенство, то это совершенство называлось нашей кошевкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин.

- Ужо надо ребятам гостинцу купить, - говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями.

Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. Ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются...

Илья Бушин тоже, по-видимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой.

- Неужели тебе не холодно, Илья?

- Помилуйте, мы люди привычные... Приедем на станок и обогреемся.

- Понравилось тебе в городе? - спрашивал Александр Иванович.

- Ничего, хорошо...

Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил:

- Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый, будто в городе-то толсто звонят, да тонко едят...

Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе.

Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин, - благодетель снежок покрыл все уличные недочеты. Наш верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность.

Когда город остался назади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил:

- А ведь я города-то не видал совсем... В первый раз приехал, думаю, все высмотрю, да вот с тем и уехал, с чем приехал.

- В другой раз посмотришь...

- И то, видно, придется в другой раз посмотреть. Надо побывать да каменные дома поглядеть. Наш-то Висим как есть весь деревянный...

Наша кошевка довольно бойко катилась

по убитой ступеньками трактовой широкой дороге. По сторонам тянулся зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства, когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди - целых две недели счастья...

Как только наша кошевка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил ее, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой.

- Ах, хорошо!.. - говорил Александр Иваныч, делая жестокую бурсацкую затяжку и закрывая от наслаждения глаза.

Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоялым дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошевке, только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме.

По верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы проехать "прямой дорогой" озерами. Путь сокращался верст на шестьдесят. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом - саженный снег, ели стоят, окутанные белым, снежным саваном, единственный признак жизни - бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Вол-

чья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками, через которые брезжит синеющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам.

Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотню верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй, на крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольничье гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Таватуй уже ночью и перед самым селеньем встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой.

- Вот как, милые; лопочут, - похвалил Илья. - Это они к палой лошади бегут, которую мы видели отсюда верстах в трех. Учуйли...

Было еще часа два утра, но в некоторых из-

бах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ всё работающий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было не легко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и "молитвовался":

- Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!..

В окне показывалось женское лицо, и слышался голос:

- Аминь. Кто крещеный?

- А мы с Висиму, заводские... Из городу едем.

- Поезжайте дальше.

Мы напрасно "молитвовались" изб у пяти, пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно, потому, что Илья сказал:

- Не замерзать же нам на улице... Есть ли на вас крест-то!

Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных

мужиков делятся теплыми сеньями на две половины: передняя - жилая, а задняя - на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане.

- Эх, чайку бы напиться, - шепнул мне Александр Иваныч, разминая окоченевшие от сидения и мороза ноги. - Только здесь какой самовар... Раскольники чаю не пьют.

Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу, но пришлось бросить...

- Да ты где? - ворчала старуха. - Образа в избе, а ты, проклятый, табачище закурить хотел...

- Ну, я во дворе покурю...

- Двор спалишь!..

Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось пить. Около печки стояла крашеная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня.

- Да ты в уме ли, табачник?! - кричала она, размахивая ковшом. Испоганил бы посудину...

У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды, и на случай необходимости держится уже "обмиршившаяся" посуда, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ею прямо из кадочки.

- Вот так угощенье, - ворчал Александр Иваныч, залезая на полати, где было жарко, как в бане. - Это называется: пожалуйте через забор шляпой щей хлебать.

В тепле мы, конечно, заснули как убитые, и тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запряжена и он уж вынес вещи в кошевку.

- Снежок падает, - сообщил он. - Ужо оттеплет к обеду...

Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось до смерти.

Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала бодро. Раскуривая папиросу, Александр Иваныч рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе.

- Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем полатам... Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку.

Эта школьническая выходка рассмешила Илью до слез, и он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз:

- Так старуха начихается досыта?.. Ну и ловко... ха-ха!..

Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заво-

де мне пришлось расстаться с Александром Ивановичем, которому нужно было ехать в Тагил.

Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой.

- Ах, лукавый живот! - возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. - Ведь всего-то восемь верстов осталось. Тоже знает, где ее сеном кормят... Ах, лукавый животище.

Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которого горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости... Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота.

Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся се-

мья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил:

- Ну что, отведал бурсацкой науки?

Дорогой мысль о бурсе как-то замерла, заметенная дорожными впечатлениями, а тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать рождество!..

## БОЛЕЗНЬ

### I

Этой главой мне приходится закончить свои воспоминания о первом школьном периоде, когда окончательно завершился полный выпад из семьи и когда я сделался окончательно отрезанным ломтем.

Наступал конец второго учебного года, а с ним и конец учения в духовном училище, о чем все мы, выпускные, мечтали, как об освобождении из чистилища. Последней гранью этого периода являлась пасха. Все как-то привыкли думать, что после пасхи начнется что-то особенное, решающее всю жизнь, а поэтому все волновались вперед. Я припомнил слова, которые мой отец любил повторять:

- Только, брат, выцарапать как-нибудь из училища, а в семинарии будет уже совсем другое...

Что будет "другое", - отец не договаривал, а для меня было ясно как день, что это "другое" - вещь самая хорошая, своего рода золотой век.

На пасху из Екатеринбурга я уезжал на целых две недели в Горный Щит к дедушке, и это одно уже составляло целое событие. Мои заводские однокашники, как Ермилыч и Александр Иванович, должны были провести это время в квартире, потому что в весеннюю распутицу нечего было и думать о поездке домой. Охваченный радостью провести две недели в домашней обстановке, я с эгоизмом всех счастливых людей совершенно как-то забыл о своих приятелях и отнесся к их положению равнодушно, точно это так и должно было быть. Все дети, с одной стороны, ужасные эгоисты, а с другой стороны, слишком поддаются всякому новому впечатлению. Одним словом, я уехал из города с легким сердцем, за что и понес соответствующее возмездие. Отправившись на хлебный рынок, я разыскал

какого-то горнощитского мужика, который не только взялся меня довезти, но даже отправил одного на своей лошади. Это уже было слишком хорошо: совершенно один, и в моем бесконтрольном распоряжении настоящая живая лошадь, настоящая деревенская телега, а в телеге - мешок с ржаной мукой.

Выехал я из Екатеринбурга настоящим героем, даже немного больше человеком, которому доверили настоящую живую лошадь, телегу и два пуда муки. Это что-нибудь значит!.. Скверно было только то, что дорога никуда не годилась, особенно при выезде из города, где телега почти плыла по сплошной грязи. Крестьянская лошадка в некоторых пунктах останавливалась с видимым недоумением, как ей быть в данном случае, - мы, собственно, не ехали, а плыли. Единственная надежда оставалась на то, что когда-нибудь да выедем из благоустроенной городской улицы и будем в поле, где, как на всех проселках в распутицу, по дороге никто не ездит, а пользуется объездами. Я благополучно миновал салотопенные заимки, распространявшие ужаснейшее зловоние чуть не на версту, проехал чудный сос-

новый бор и начал спускаться широкой луговиной к безымянной речонке, существовавшей только в распутицу специально для неприятностей доверчивым путешественникам. Когда я подъехал к этой речонке, моста не оказалось. Пришлось ехать в "цело"\*, по колесным следам счастливых предшественников. Моя лошадка бодро спустилась в грязь, увязла по колена и остановилась. Телега завязла в грязь выше ступицы колес. Судорожные усилия лошади вытащить телегу привели только к тому, что моя телега разделилась на две части, - передок с лошадьё уехал вперед, а собственно телега осталась в грязи, ткнувшись передней грядкой\*\* прямо в грязь. Переломился железный курок... Это было хуже кораблекрушения... Я как-то совершенно растерялся, тем более что по дороге никого не было видно, а сам я ничего не мог поделать, даже уйти пешком. Пришлось просидеть среди грязи часов пять, пока уже в сумерки наехал возвращавшийся из города горнощитский мужичок. Он остановился, осмотрел сломанный курок, покачал головой и проговорил:

---

\* Ехать в "цело" - целиком, напрямик, без дороги. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

\*\* Грядка в средней полосе России - подушка, нижняя передняя часть телеги. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

- Плохо твое дело, парнюга... Ишь ты, точно зубом перекусило курок.

Потом он начал бранить и дорогу, и сломанный мост, и мастера, который делал курок, и так вообще глупых людей, которые таскаются по таким проклятым проселкам. Кончилось все тем, что он вырубил молодую елку и сделал деревянный курок.

- Да ведь он сломается на первой версте, - заметил я в отчаянии.

- И даже очень просто, - согласился мужичок. - Уж ежели железный курок не вытерпел, так где же деревянному удержаться... А может, и доедешь... Случается...

Телега была поставлена на передки, деревянный курок вставлен на свое место, и мужичок, пожелав мне благополучного пути, уехал.

- Сегодня у нас баня, тороплюсь домой, -

объяснил он. - А ты полегоньку, парнюга, по потным-то местам...

Надвигались уже холодные весенние сумерки, и я рисковал заночевать где-нибудь в "нотном месте", то есть в ложке или болоте. Вообще приятного впереди было мало, и я трепетал за каждый шаг вперед, особенно когда приходилось спускаться мимо деревни Елисавет к речке Патрушихе. Было уже темно настолько, что трудно было рассмотреть что-нибудь в десяти шагах, и я предоставил свою судьбу инстинкту своей милой лошадки, которая знала дорогу, конечно, лучше меня. У меня, впрочем, оставался еще расчет на обратных горнощитских мужиков, которые могли меня догнать, но, как на грех, ни одна телега меня не догнала. Моя лошадь шла осторожно, нога за ногу, в сомнительных местах останавливалась, фыркала и выбирала то направление, которое ей казалось более удобным.

Ровно в полночь моя телега остановилась у дедушкина домика. Деревянный курок оказался выносливее железного.

- Эх, Митус, а баню-то ты прозевал, - жалел

меня дедушка Семен Степаныч.

После пережитых волнений мне, конечно, было не до бани. Я, как говорится, был рад месту...

Две недели отдыха, как всякие каникулы, промелькнули с предательской быстротой. Моя прабабушка Феофила Александровна перед каждым праздником приходила в отчаяние по поводу несовершенства и слабостей рода человеческого, а перед пасхой в особенности, - Горный Щит оказывался самым скверным уголком на всей нашей планете. Со свойственным молодости легкомыслием я не доверял этому старушечьему отчаянию и даже спорил со старушкой, защищая нравственность горнощитских обывателей, но потом мне приходилось убедиться в справедливости Феофилы Александровны.

Дело было так. Как известно, на пасхе и долго после пасхи духовенство обходит весь приход с иконами. Мой отец никогда не позволял мне провожать его в этом случае, но в Горном Щите я с детьми о.Вениамина отправился по приходу с иконами. То, что пришлось мне увидеть, привело меня почти в от-

чаяние. Почти все село, за редкими исключениями, поголовно было пьяно. Эти красные, пьяные лица, воспаленные глаза, пьяное, бессвязное бормотанье, когда духовенство переходило из одной избы в другую, оставили во мне тяжелое чувство... Дедушка увидел меня в толпе провожавших иконы, подозвал к себе и, погрозив пальцем, строго сказал:

- Ступай домой, Митус... Тебе тут нечего делать.

## II

Пасха пролетела быстро. Я начал уже готовиться к выпускным экзаменам и отчаянно зубрил греческие и латинские слова.

- Что, брат, трусишь? - подшучивал надо мной дедушка...

- Трушу...

В город я вернулся в самом ожесточенном настроении, то есть решил зубрить до потери сознания. Прабабушка снабдила меня, конечно, "подорожниками", то есть разными произведениями своего кулинарного искусства, но на этот раз они меня не интересовали, и я роздал их почти целиком остававшимся в квартире приятелям. Вообще я чувствовал се-

бя как-то не по себе, разнемогся, как говорят деревенские старухи. А когда начались занятия в училище, я окончательно расхворался. Инспектор осмотрел мой язык, сосчитал пульс, ощупал лоб и только покачал головой.

- Можешь оставаться дома, - решил он. - А там увидим...

При училище была небольшая больничка, но инспектор почему-то не отправил меня туда, - вероятно, потому, что там не было свободного места. Дома, то есть у себя на квартире, мне пришлось лежать в большой комнате, на простой деревянной скамейке с деревянной решетчатой спинкой. Время до обеда проходило в полном одиночестве, когда некому было подать воды, а сейчас после обеда начался настоящий ад. Кричали, пели, дрались и отчаянно зубрили вслух. Последнее было всего хуже, потому что я про себя повторял все слова и фразы, которыми был насыщен самый воздух. Мне иногда начинало казаться, что я вижу эти слова в форме каких-то букашек, закорючек и фантастических фигур, осаждавших меня, как овод в летний жар.

В болезнях есть что-то таинственное, начи-

ная с их зарождения. Откуда они приходят? Наш ум привык объяснять все разумными причинами, наконец, известной целью, а тут является что-то бессмысленное, подавляющее и, главное, неопровержимо доказывающее бренность человеческого существования. Был человек, - и вдруг его нет... При болезнях страдает не одно тело, а, главным образом, душа, и нет такого инструмента, каким можно было бы измерить, взвесить и сосчитать эти душевные муки. Это с одной стороны; а с другой - именно в болезнях коренятся глубокие основания душевных перемен. Есть своя философия болезней, до сих пор еще не изученная и не написанная. Сплошь и рядом болезнь является роковой гранью, которая разделяет нашу жизнь на периоды, причем человек до болезни и человек после болезни являются совершенно разными людьми, чего не хотят замечать по психической близорукости. Иногда болезнью завершается благодатный переворот к лучшему, а иногда наоборот...

Воспоминания об этой болезни у меня сохранились с особенной отчетливостью, точно

все происходило только вчера. Мои товарищи по квартире отнеслись к моему положению почти безучастно и не обращали на меня внимания, точно я уже не существовал на свете. Все дети страшные эгоисты, и, вероятно, я сам отнесся бы таким же образом к другому больному. Внимательнее других оказался Ермилыч, который иногда подходил ко мне и повторял одну и ту же фразу:

- А ты поел бы...

Вечно голодные мальчишки не могли никак себе представить, что человек может не хотеть есть. От Ермилыча я, между прочим, узнал, что у меня "горячка", как в те времена назывались все тифы, и что я могу умереть. Последним обстоятельством особенно огорчилась добрейшая Татьяна Ивановна, потому что это бросало некоторую тень на ее квартиру.

- Уж, кажется, я ли не старалась... - охала она, прикладывая по-старушечьи руку к щеке. - И с чего бы, кажется, быть горячке... Вон все другие здоровы, слава богу.

Жизнь Татьяны Ивановны точно была соткана из разных примет, вещей снов и вечно-

го страха перед какой-то неизвестной бедой, которая вот-вот разразится над ее головой. Моя болезнь была отнесена к числу дурных предзнаменований.

- Ведь только что приехал из Горного Щита, - жаловалась она. - Там бы, у дедушки, и хворал... А то нет, слег здесь. Ох, вот беда-то прикачнулась.

Самым внимательным человеком по отношению ко мне оказался наш инспектор, навещавший меня почти каждый день. Он же и лечил меня гомеопатическими крупинками, как лечил ими своих прихожан и мой отец. Я верил в крупинки на последнем основании и был рад, когда приходил инспектор и заставлял меня показывать язык, считал пульс и т.д. У постели больного это был совсем другой человек, ничего общего не имевший с тем, который наводил трепет даже на отчаянную бурсу. Я слышал его тяжелые шаги, когда он поднимался по лестнице, и знал вперед, что он войдет в шляпе в мою комнату, понюхает воздух, сморщится и скажет подобострастно сопровождавшей его Татьяне Ивановне:

- Что это у вас, матушка, воздух-то какой...

Хоть топор вешай. Покурили бы чем-нибудь, что ли...

- Уж, кажется, стараюсь, господин инспектор, - обиженно отвечала старушка. - Даже в другой раз и ночью не спишь, а все думаешь, как бы лучше... Да и то сказать, ведь шестнадцать человек, какой уж тут воздух.

Следовало, конечно, известить о моей болезни дедушку, но этого не сделали, чтобы напрасно не тревожить старика, - все равно он не мог приехать, потому что должен был обходить весь приход с иконами.

Я отлично помню мучившие меня горячечные галлюцинации. Мне представлялось необозримое пространство, матово-белое, как полированная слоновая кость, и на этом поле появились какие-то лохмотья, которые я напрасно старался удалить, чтобы сохранилась сверкавшая белизна общего фона. Это было самое мучительное состояние, и я чувствовал, как начинаю задыхаться, подавленный собственным бессилием. Затем мне казалось, что я все еду, еду по скверной проселочной дороге, как ехал на пасху, а цель путешествия по-двигалась все дальше и дальше. В каком-то

радужном тумане, как в камер-обскуре, выступали знакомые силуэты родных зеленых гор, мелькали дорогие лица и разные предметы домашней обстановки, которые казались живыми. Меня охватывала страстная тоска, и я напрасно рвался к зеленым горам, где так легко дышалось, - дорога казалась тоже живой и не пускала вперед, а даль заслонялась мучительно белой и блестящей поверхностью. Еще больше мучили галлюцинации слуха: кругом меня все зубрило, отчаянно, упорно, озлобленно... Где-то вдали прорывались родные голоса, гудел медный колокольный звон и глухо и торжественно шумел родной зеленый лес. Впечатления настоящего и прошлого переплетались в мучительно пеструю амальгаму, точно какая-то неведомая рука подводила итог всему пережитому. Происходил мучительный душевный перелом, завершавший раннее детство.

В светлые промежутки, когда являлось сознание действительности, все мысли, конечно, летели домой, в родной Висим. Я видел опять отца и мать, всю обстановку родного гнезда и с особенной яркостью сознавал, что я

отрезанный ломоть навсегда и что возврата нет и не может быть... Осталось идти вперед.

Странно, что окружавшая обстановка почти не действовала на меня, несмотря на ученый ад. Настоящее точно уплыло из сознания, и окружавшие меня шум и гам незаметно сливались с внутренним пожаром.

Последние дни перед кризисом прошли в каком-то тумане, а когда я проснулся от своего забытья, передо мной стоял инспектор и ласково говорил:

- Ну, теперь слава богу... Теперь долго проживешь.

У дверей стояла Татьяна Ивановна и вытирала слезы концом своего рабочего передника.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Отрезанный ломоть

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Воспоминания

Замысел книги воспоминаний восходит к 1891 г. "Нужно будет написать на всякий случай воспоминания о всех... простых и хороших людях, среди которых прошло мое детство", - писал Мамин-Сибиряк в письме к ма-

тери. Отдельные рассказы и очерки, составившие книгу, печатались в разных журналах в течение десяти лет.

Отдельной книгой воспоминания вышли в 1902 г. в издании журналов "Детское чтение" и "Педагогический листок"; при жизни писателя переиздавались дважды - в 1908 и 1911 гг. в серии "Библиотека для семьи и школы".

С. 354. Ормузд и Ариман - древнеперсидские божества. Ормузд олицетворение добра и света, Ариман - олицетворение злого начала.

Еще совсем малюткой, в колыбели... - из стихотворения В.Гюго "Моей дочери".

С. 386. Триповый - сшитый из шерстяной ворсистой ткани трипа.

С. 390. Казеннокоштный - учащийся, который содержался и обучался на казенный кошт, т.е. на средства государства или церкви.

С. 400. "Английский милорд" - в подлиннике "Повесть о приключениях аглицкого милорда Георга", сочинение Матвея Комарова, впервые напечатано в 1872 г. Роман многократно переиздавался.

"Никласа Медвежьё лапу" читал? Нет? А

"Битву русских с кабардинцами"? Тоже нет? А "Лесного бродягу"? - Речь идет о низкопробной, так называемой "народной" литературе. "Никлас - Медвежья лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из жизни Фридриха II" (1837) - псевдоисторический роман Р.М.Зотова (1795-1871); "Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа" (1844) - роман Зряхова; "Лесной бродяга" (1852) - перевод с французского, роман Ферри.

С. 406. Парии - в прошлом племена южной Индии. В широком значении лишенные всяких прав, отверженные, угнетаемые люди.

С. 424. Курок (шкворень) - металлический стержень, соединяющий передок телеги с передней осью.

А.Груздев